А. ГОВОРОВ

АЛКАМЕН — ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК

ИЗДАТЕЛЬСТВО • ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА •

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Две с половиной тысячи лет назад мальчишки, так же как и наши, современные, мальчишки, больше всего на свете любили приключения. Но мальчику Алкамену, сыну рабыни, жившему в древних Афинах в V веке до нашей эры, в эпоху греко-персидских войн, приключения были нужны и потому, что ему очень хотелось совершить подвиг и заслужить себе свободу.

Алкамен пытается похитить священную змею, выступает в театре вместо взрослого актера, раскрывает заговор, сражается с варварами, наконец, отправляется лазутчиком во вражеский лагерь и участвует в грандиозной морской битве при Саламине. Рядом с ним его друзья — девочка Майка и старик Мнесилох.

В учебнике Ф. П. Коровкина «История древнего мира» историческая повесть А. Говорова «Алкамен — театральный мальчик» рекомендована в списке литературы для внеклассного чтения.

- Александр Говоров
  -
  - ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО МНОЙ
  - ТЕПЕРЬ ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МОИМ БОГОМ
  - ЖРЕЦ КИЛИК
  - МНЕСИЛОХ-ПРИХЛЕБАТЕЛЬ
  - МЫШИ, ТОРГОВКИ И ЛЕПЕШКИ
  - СКУПЩИКИ ДЕТЕЙ
  - ТЕАТР
  - НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ
  - ЕЩЕ ОДИН ВРАГ
  - РОЖДЕНИЕ «БЕЛЛЕРОФОНТА»
  - ДЕВОЧКА
  - РАСПРАВА
  - СОБЫТИЯ НАДВИГАЮТСЯ
  - ОСТРАКИЗМ
  - БОРЬБА ПЕРЕНОСИТСЯ В ТЕАТР
  - ПРАЗДНИКИ
  - «СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ»
  - ЗАГОВОРЩИКИ
  - БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
  - ПАЛКИ В КОЛЕСА
  - НЕОЖИДАННЫЙ ДЕБЮТ
  - УСПЕХ, УСПЕХ!

- КАТАСТРОФА
- ПРАВО УБЕЖИЩА
- КОГДА РАБОМ БЫТЬ — УДОВОЛЬСТВИЕ
- САДЫ АКАДЕМИИ
- АРЕОПАГ
- СВЯЩЕННАЯ ЗМЕЯ
- ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОРОДА
- ОТЩЕПЕНЕЦ
- В ГАВАНИ
- ГОРОД ВЫМЕР
- НОЧНОЙ БОЙ И ПОГОНЯ
- РАССВЕТ
- ТЯЖКАЯ ДОРОГА
- К МОРЮ
- САЛАМИН
- НОЧЬ ПЕРЕД БИТВОЙ
- АРИСТИД
- ПЕРЕБЕЖЧИКИ
- АРТЕМИСИЯ
- МЯТЕЖНИКИ
- ОСТРОВ ПСИТТАЛИЯ
- АФИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
- ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Александр Говоров
Алкамен — театральный мальчик

Историческая повесть

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО МНОЙ

Меня зовут Алкамен, мне тринадцать лет. Я родился в Афинах, в славном городе, который поэты называют «пышновенчанным» и «белоколонным».

Однако, если я иду по улице, я низко опускаю голову и вижу только ноги прохожих. Ведь я раб, сын рабыни и не смею поднимать глаза на свободных. Вот я и хожу по улицам, не видя красоты белокаменных портиков и величавых кипарисов, которые воткнули свои верхушки в ослепительное небо.

По вечерам, когда зной сменяется прохладой, рабы возвращаются с поля или из мастерской. Они еле волочат ноги, их ужин (кусок хлеба и горсть маслин) остается несъеденным до утра: усталые, они валятся спать. Тогда из темных сараев и мрачных подвалов сквозь стрекот цикад и крики сов доносится невнятное бормотание. Это рабы во сне проклинают Афины. Они желают этому городу, чтобы храмы его рухнули и задавили под развалинами его жен и дочерей, чтобы огонь пожрал его масличные рощи, чтобы чума, мор и запустение пришли в его предместья и села...

На разных языках они осыпают проклятьями его, великий город, за то, что заковал их ноги в цепи, забил шеи в колодки, изнурил непосильной работой, отнял молодость и счастье.

Мне же старик Мнесилох (я вам позднее расскажу о нем) говорит:

— Ты еще молод, не испытал еще рабского горя, ты любишь наш город и совсем не похож на раба.

Да, я люблю Афины! Когда вечереет, я забираюсь по козьей тропе на рыжие скалы Акрополя и наблюдаю, как Феб-Солнце осторожно низводит свою раскаленную колесницу в пучины океана. Становится сразу темно, и по рощам пробегает легкая дрожь — вечерний ветерок. Вероятно, Феб вспоминает вдруг, что забыл попрощаться с грешными жителями темной земли. Его пунцовая глава еще раз прорывает пелену далеких туч и словно бы кивает на прощанье смертным: «Не печальтесь, ложитесь спать, утром я приду снова».

Нужно обязательно спросить Мнесилоха, почему, когда огненная колесница Феба касается холодных волн, нет ни пара, ни шипения, как это бывает у нашего кузнеца, когда он раскаленную добела подкову швыряет в чан с водой.

Пока ночь не скрыла очертания города, я поворачиваюсь в другую сторону и вижу округлые склоны Гиметских гор. Там низкорослый лес чередуется с полями виноградников и горы

похожи на плохо остриженного барана — один бок кудрявый, другой с проплешинками. Между гор вьется дорога в Марафон.

И тут я думаю о славе родного города, о его свободной силе, которая одержала там, в Марафоне, десять лет назад, победу над варварами.

Но если я повернусь в третью сторону, там, несмотря на то что тьма уже завладела пространством, видится побережье, чудятся реи и снасти судов, пришедших из далеких стран. Там по палубам разгуливают обожженные солнцем и просоленные морем матросы, отважные, как аргонавты.

И все это мне недоступно — ведь я раб!

Свою маму я помню плохо. Вижу как сквозь сон, будто мы с ней идем в сад, все кусты усыпаны пышными цветами и пахнет так приятно. Помню, как большие белые руки матери проворно срывали цветы, она пела и плела венки. Эти венки мама уносила в храм, для которого она их плела, а один венок, самый красивый, мы несли в священную рощу, что позади нашего храма. Там мать надевала венок на шею гермы Солона, изображавшей приятного старца с длинной бородой.

Как и у всех детей, у меня на груди висит на витом шнурке амулет. Мой амулет — простой оловянный кружочек, на котором выбита одна буква. Мнесилох мне объяснил, что это буква «Е», с которой начинается слово «елевферия», что значит «свобода».

Я смутно помню, как мама шептала, укладывая меня спать:

— Храни амулет, не снимай, он принесет тебе счастье!

Когда мне минуло четыре года, меня начали посылать с другими детьми на виноградники ловить слизняков на листьях. Однажды, вернувшись, я не застал моей мамы. Я долго кричал и звал ее, но никто не утешил меня и не объяснил, куда она делась. И я стал сиротой.

Гермы — мраморные столбы с головами богов и героев — до

сих пор, конечно, стоят в священной роще. Старик Мнесилох открыл мне, почему мама надевала венок именно на герму Солона. Солон, оказывается, велел освободить всех рабов-греков, родившихся в Афинах. Родители моей матери, свободные афиняне, были проданы некогда за долги в рабство в далекую Персию; законы Солона застигли их там, и они не получили свободы. Мою мать еще девочкой купили и привезли сюда, на родину ее предков. Так мы и остались рабами.

— Впрочем, — добавлял при этом Мнесилох, — среди герм есть и изображение Клисфена, а Клисфен тоже освободил многих рабов и даже дал им землю. Так что ты, парень, не горюй. Кто-нибудь из вождей демократии даст тебе свободу, недаром же ты потомственный афинянин.

А пока в ожидании свободы я лазаю сюда, на скалы Акрополя, и смотрю на призраки кораблей в ночном мареве моря.

ТЕПЕРЬ ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МОИМ БОГОМ

Я не принадлежу какому-нибудь частному лицу, я — раб бога Диониса. Не его самого, конечно, потому что боги, я думаю, не нуждаются в рабах, я раб его храма, который стоит на южном склоне Акрополя.

Мой хозяин, бог Дионис, сын бога Зевса и смертной женщины Семелы, так же, как и я, в раннем детстве лишился матери. Его воспитали веселые нимфы цветов. Прежде чем попасть на Олимп, ему пришлось испытать еще много тягостей: он блуждал по лесам и рощам с козлоногими сатирами и вакханками и даже был вынужден жениться на Ариадне, покинутой афинским царем Тесеем. Кончилось все тем, что титаны, мятежные братья богов, разорвали Диониса в клочья, и только тогда он вознесся на Олимп и стал богом плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства.

В честь Диониса происходили состязания поэтов, театральные представления.

В долгие зимние вечера, бывало, когда стонут вихри и даже выпадает снег, рабы в сарае жмутся друг к другу, стараясь согреться: ведь из экономии нам не дают ни дров, ни угольев дляжаровни. Тогда кто-нибудь из стариков рассказывает мифы. Особенно хорошо рассказывал о чудесных превращениях наш садовник Псой, необыкновенно костлявый человек, с глазами такими ясными, что их, казалось, можно было увидеть и в темноте сарая.

Он рассказывал про Диониса, а я, маленький, думал о том, что и мне суждено перенести всевозможные страдания, пока наконец я не сделаюсь свободным и счастливым. Меня особенно страшило, что, может быть, придется жениться или быть разорванным на части, но я готов был перенести и это ради конечной свободы.

Теперь я достаточно взрослый и не верю старушечьим россказням о чудесах. Почему так случилось? Потерпите, я сейчас вам все расскажу по порядку.

Внутри нашего храма между рядами стройных колонн, окутанный ароматным дымом, возвышается сам бог Дионис — не сам Дионис, правда, а его разукрашенная статуя. Впрочем, жрецы уверяют, что во время богослужения бог прилетает с Олимпа и незримо поселяется в статуе, вдыхает аромат курений и запахи жертв.

Маленький, я очень боялся этой статуи. Когда я в храме держал вместе с другими мальчиками шлейф священной мантии верховного жреца, у меня подгибались колени: мне казалось, что бог, которого скульптор изваял улыбающимся, иногда загадочно подмигивает сквозь дымную пелену курений и даже показывает мне свои острые, безжалостные зубы. Когда я получал назначение идти в храм прислуживать, я втихомолку плакал от страха, но просить об отмене приказания страшился, потому что это прогневило бы всезнающего бога.

Однажды добрый садовник Псой принес слепого, жалкого котенка. Псой подобрал его на краю канавы, кто-то бессердечный хотел его утопить. Я посадил котенка себе за пазуху и так носил под хитоном. Пушистый забавно щекотал мне грудь влажным носиком, а когда повзрослел, стал и коготки пробовать о мою кожу. Я делил с ним свой хлеб и рыбу, а он ночью ложился мне на шею, как меховой воротник, и мурлыкал о подлунной стране, где по остриям крыш ходят вольные кошки, задрав хвосты.

Вскоре он вырос и сделался кошечкой с египетскими глазами, огромными, как бронзовые пуговицы. Еще через некоторое время кошечка захотела принести мне котят.

И вдруг она исчезла! Я был уже достаточно большим, чтобы плакать, но не находил себе места: осаждал рабов расспросами о моей кошке и даже осмеливался спрашивать жрецов. Ночью я прислушивался, не идет ли моя мягонькая, моя ласковая, единственное мое существо...

— Когда кошка собирается принести котят, — утешали меня рабы, — она прячется подальше от глаз людей.

Наконец однажды Псой заметил:

— Уж не твоя ли кошка кричит где-то в храме? Прислушался я сегодня, вроде мяучит где-то, а где — не пойму.

Я тоже прислушивался во время богослужения, и действительно, сквозь пение гимнов и молитв мне слышалось тихое мяуканье. Что делать?

В полдень, когда в богослужении наступает перерыв, а разморенные жарой и обедом жрецы отдыхают под парусиновым навесом, я проскользнул в маленькую дверцу позади алтаря.

Как билось мое сердце, когда я вступил под сумрачные высоты огромного зала! Можно было каждое мгновение ожидать, что колонны рухнут, чтобы задавить меня, маленького святотатца.

Но нет, ничего. В храме — ни души. Каждый шаг рождает робкое эхо где-то на балконах, а с улицы доносится скрип колодезя и грустные крики осла.

Бог белой тенью высится в полутьме. Он как будто шагает —

правая нога выставлена вперед. Руки у бога вытянуты по швам, как у воина в строю, а рот смеется: улыбка царит между выпуклыми щеками и острым подбородком. Страшно смотреть на эту улыбку!

А вот и мяуканье, отдаленное, как будто из глубин Аида. Где же она, моя кисонька?

Не может быть! Я остолбенел от ужаса: мяуканье доносилось изнутри статуи. Ноги сами меня понесли вон из храма. У дверцы, однако, я задержался: неужели кошка действительно сидит в статуе? А как же бог?

Помедлив, я зашел за спину бога, куда жрецы посторонних не пускают. В ножище статуи чернело отверстие. Я заглянул туда и отпрянул: навстречу мне высунулась усатая мордочка. Кошка прыгнула мне на плечо, ластилась, мурлыкала, и тут мы нагляделись друг на друга вдоволь. А внутри пищал разноголосый хор... Догадалась-таки хитрая зверюшка вывести котят внутри бога!

А он — ничего, даже не шевелится, все так же улыбается с недоступной высоты. Я сунул голову в отверстие: там было темно, но многочисленные дыры в статуе, незаметные снаружи, пропускали лучики света, и можно было разглядеть распорки, паутину и мусор внутри.

«Если правда, что бог Дионис прилетает с Олимпа, не станет он ютиться в такой пакости», — подумалось мне, и страх от меня отлетел.

Я вынул из-за пазухи кусочек сала и стал кормить голодную кошку.

Вдруг железные пальцы сдавили мое плечо. Я обернулся: младший жрец Килик, схватив мою кошечку за хвост, изо всей силы шмякнул ее головой о каменный парапет. Затем Килик сунул руку в отверстие и, пошарив, выташил слепых котят, крошечных, как мыши. Дрожащих, несчастных, беззащитных, он утопил в бассейне с водой, куда фонтан бросал светлые струи, у подножия улыбающегося бога.

Маленьких, слабеньких — утопил! Бешенство затмило мои глаза — я ринулся и вцепился зубами в руку жреца. Килик схватил меня за шею и погрузил мою голову в бассейн. Я захлебывался, глотал холодную воду, в глазах расплывались радужные круги, я хотел кричать, в раскрытый рот входила вода, вода...

Но пальцы Килика разжались, кто-то меня вытащил и положил на пол. Я открыл глаза — надо мной старик комедиант Мнесилох отпихивал рассвирепевшего жреца.

Так в мою жизнь вошли они — Килик и Мнесилох, вошли вдвоем: один как злой, другой как добрый демоны. А бога Диониса я перестал замечать. С виду он такой неприступный и важный, как главный стражник на рынке, а внутри труха и паутина. Не мог даже заступиться за бессловесного котенка, а что ему стоило хоть пальцем двинуть?

ЖРЕЦ КИЛИК

В храм Диониса целый день идут и едут богомольцы. Тот просит исцеления от болезни, другой молит урожая, третья ждет ребенка, четвертый, наконец, явился так просто, от любопытства или от нечего делать. Все приносят в храм богатые дары: ковер за удачную торговлю, вазу за оправдание в суде, курицу за разгаданный сон. На каждом даре написано, за что именно подарен, а у курицы на шее — ярлычок с надписью.

Дары принимает младший жрец Килик. У него косое пузо, ручки и ножки, как щепки, и он напоминает круглую курильницу на проволочных ножках. Ковры, сосуды, треножники и прочую дареную утварь Килик переписывает и отправляет в сокровищницу, а телят, ягнят, кур, зайцев громко приказывает возложить на алтарь богов. Привычные рабы понимают, что это значит: разжигают на алтаре огонь и начинают палить шерсть и перо. Килик объявляет верующим, что бог милостиво принял жертву. Почувствовав запах паленого, жертвователи уходят, а рабы относят мясо на кухню.

Обман этот мне не нравится, но я молчу. Богу все равно ведь — не нужна ему человеческая еда, ну, а от зловредного Килика можно заработать веский подзатыльник.

Больше всего Килик не любит, когда жертвуют уже зажаренное мясо или печеные плоды. Все это надо сразу же есть, чтобы не испортилось, и часто приходилось отдавать еду рабам, — вот рабы рады!

Зато вечером, когда богослужения, процессии и гадания кончаются и утомившиеся богомольцы расходятся на постоялые дворы спать, в дом Килика, что стоит позади храма, собираются гости: жрецы, торговцы и просто граждане из числа приятелей Килика. Они едят жертвенное мясо, запивают жертвенным вином, — пусть простодушные верующие думают, что это прожорливый Дионис съедает такие количества!

Понятно, что с Киликом у меня вражда. Я досаждаю ему где только могу. Однажды в праздник Великих Дионисий меня поставили позади девочек-хористок, чтобы я держал над ними страусовое опахало. От скуки я взял бечевку и незаметно связал косички маленьких певиц. Девчонки старательно разевали рты и ничего, конечно, не почувствовали. По знаку Килика они должны были под музыку красиво разойтись по храму. Вместо этого девчонки завизжали и схватились за волосы: бечевка помешала им отойти друг от друга.

Килик получил выговор от верховного жреца, но никому

слова не сказал. А вечером он отщелкал меня палкой по затылку.

Когда он пирует с друзьями, мы все нагружены работой. Готовим столы, тазы, пряники, подушки, венки, маковые булки, коврижки, лепешки, благовония, сладости и музыкальные инструменты, а потом прислуживаем за столом.

Как-то раз пирующий Лисия, перекупщик зерна, чье худое лицо всегда напряжено от злобы, а глаза словно ищут, кого бы избить, приказал девушке-флейтистке поправить на нем венок из роз. Девушка стала расправлять лепестки цветов, и в этот момент ее белые руки напомнили мне далекий сон: руки мамы, плетущие венки. То ли девушка устала, то ли пьяный перекупщик пошатнулся, ветка слегка стегнула его глаз. Лисия поднялся на локте... Жилистая рука отвесила девушке пощечину. Флейтистка, плача, уползла на четвереньках, потому что хмельные гости стали с хохотом и визгом кидать в нее кубки, кувшины, серебряные блюда. А пир продолжался: бренчали бубны-тамбурины, протяжно пели хористы, звенели чаши.

— Эй, мальчик! — хрипло кричал мне Лисия. — Подай новый кубок, мой укатился под стол.

Он уже не отличал белого от черного. Я подал ему медную чашу с уксусом, в который пирующие макали мясо. Лисия, зажмурив глаза, схватил и жадно выпил.

О, если бы вы видели, что случилось! Он замяукал, как пантера, и подпрыгнул над столом; повалив высокие светильники, он стал кататься по ложам. Одежда его затлелась, и все кинулись гасить.

Никто не заметил, что именно я подал ему уксус, но на всякий случай я исчез. А наутро Килик отстегал меня плетью.

Так мы с ним, с Киликом, и живем: проказы за тумаки, тумаки за проказы.

МНЕСИЛОХ-ПРИХЛЕБАТЕЛЬ

Весной во время пахоты бог Дионис покидает храм и идет в поля, согретые ласковым солнцем. Идет он, конечно, не собственными ногами, а в образе статуи движется на носилках, на плечах рабов. Впереди идут музыканты: ударяют в бубны, играют на флейтах, некоторые звенят струнами цитр. Жрицы, изображающие вакханок, кружатся на ходу, черпают из горшков лепестки роз, осыпают ими встречных. Ведут ручную пантеру, по кличке Милашка, шествуют жрецы, а за жрецами уж идем мы — мальчики. Страдая от жары, мы тащим священные принадлежности: кубки для возлияний, серебряные чаши, кадила, курильницы. Килик в пышных одеждах семенит на кривых ножках, следит за всем недремлющим оком.

На мою долю досталась тяжеленная амфора. Я нес ее на плече, потом на спине, тащил в охапке — весь измаялся. Дай-ка, думаю, погляжу, что внутри. Открыл незаметно, а там шарики пахучего снадобья — ладана; эти шарики кидают на уголья жертвенника, чтобы дым становился благоуханным. Я стал потихоньку выкидывать эти шарики в пыль дороги, и амфора становилась все легче и легче. Внезапно Килик заметил мою хитрость, выхватил амфору, хотел надавать мне затрещин, но я ловко защищался ладонями. За нами шли толпы верующих. Килику не хотелось затевать скандал на людях, и он только прошипел:

— Погоди-ка ты у меня!.. А ну, выйди из шествия!

И я пошел по обочине дороги, в тени каштанов, по прохладе. Как будто бог Дионис сам по себе, а я — сам по себе.

Шествие вышло из Афин через двубашенные ворота и повернуло в город Ахарны. Ахарняне — народ суровый, кряжистый, недаром зовут их «вояки марафонские» за то, что в битве при Марафоне они одни не дрогнули, не побежали под натиском персов. Ахарняне плетут корзины, жгут уголь, сеют хлеб. Хороши у них виноградники — виноград крупный, как янтарные слезы, или удлиненный, как пальчики богини!

Мы проходили через предместье Колон, мимо дома богача Ксантиппа. Музыканты перестали играть, жрецы повернули головы, с любопытством прислушиваясь. Из дома Ксантиппа слышались крики, ругань. Там здоровенные рабы волокли на улицу однорукого старика в нарядном хитоне голубого, модного, цвета.

— Берегись каждого, кому ты сделал добро! — кричал старик. — Вот посмотрите-ка, люди, как меня Ксантипп на улицу

выгоняет! Ксантипп, которому я — благодетель!

Тут из окошка верхнего этажа высунулся сам Ксантипп, худой, черномазый, со всклокоченной бороденкой, и закричал, сверкая белками глаз:

— Ишь какой благодетель! Есть да пить на мой счет — вот благодетель! Хитон ему новый подарил, люди добрые, так он хозяина злым словом поносит!

— Кончил бить в барабан и палочки забросил! — жаловался старик. — Не нужен ему теперь веселый Мнесилох, на улицу выкидывает!

Ба! Да ведь это тот самый старик комедиант, который вырвал меня однажды из рук разъяренного Килика.

— Эй, рабы! — неистовствовал в верхнем этаже Ксантипп. — Хватайте этого шута, раз, два, три!

Рабы выбросили Мнесилоха в канаву, и он остался там лежать, умоляя помочь подняться на ноги. Люди, посмеиваясь, проходили мимо: Мнесилох был известный проказник — всем казалось, что он и на этот раз играет очередную шутку.

— Кошка разбила горшок, и наказали собаку! — стонал Мнесилох. — Доблестные граждане, помогите инвалиду, который сражался за вас при Марафоне.

Я подал ему руку. Мнесилох уцепился, выбрался наверх.

— Тебе помочь? — спросил я. — Тебя больно побили?

— Ха! — засмеялся Мнесилох. — Боги осла знали: не дали ему рогов, так он больно не забодает!

Подбежал один из рабов Ксантиппа, вручил сверток — там

была старая одежда Мнесилоха.

— Он думает, что я сниму дареный плащ, надену лохмотья! — воскликнул старик. — Э, не таков Мнесилох: что ему в руку попало, то и приклеилось.

— Проваливай! Проваливай! — закричал из окна Ксантипп. — Эй, рабы, выпустите на него собаку!

Услышав про собаку, я предложил:

— Давай я тебя отведу. Где ты живешь?

— Где я живу? — усмехнулся старик, стряхивая пыль с нового хитона. — Крыша мне — небо, звезды в ней — дырки, вместо дождя серебро в них льется. Серебра так много, что и кушать не на что.

Пока я поддерживал старика под локоть, выводя на ровную дорогу, он всматривался в мое лицо.

— Эге-ге! — вскричал он. — Это ты, маленький раб Диониса? Ну как, твой Килик больше не устраивает тебе купанья в храмовом водоеме?

Мне было неловко вспоминать о том случае, и я промолчал. Мнесилох ковылял, вздыхая, громко жалуясь богам. Так дошли мы до поворота дороги. Хвост шествия в честь Диониса уже скрылся за пальмовой рощей.

— За что тебя Ксантипп? — осведомился я. Мне было нестерпимо жаль бездомного старика: ведь все над ним только потешались.

— А я его обличаю, малыш, — ответил Мнесилох. — Богат он — я напоминаю, что монеты пахнут слезами. Счастлив — рассказываю об Эдипе, который все растерял — царство и детей, блуждал слепым нищим. Буйствует кротостью укоряю. Только этого героя не проймешь — неукротим, считает себя вторым Гераклом.

— Почему?

— А вот подрастешь, узнаешь, как честолюбие иногда правит человеком, заставляет всем жертвовать — и собой, и близкими... — Мнесилох вздохнул и погладил меня по голове. — А ты беги, беги, догоняй свое шествие, попадет ведь тебе от Килика. Я отсюда и сам дойду.

Тут настиг его раб, передал деньги от Ксантиппа.

— Раскаялся? — вскричал Мнесилох. — Разжалобить хочет? Ну нет, Мнесилох хитон взял, потому что нечем прикрыть рубцы ранений. А деньги Мнесилоху — тьфу!

И он кинул их в пыль — большие деньги, целую пригоршню монет! У меня дух занялся.

С этого дня мы сделались друзьями. Мнесилох жил прихлебателем у богатых людей; поживет у одного, забавляет

словечками и выходками, потом надоест — ему дают подарок и выпроваживают без стеснения. Мнесилох перебирается к другому; там повторяется та же история.

В комедии он был самым забавным, в народном собрании — самым горластым. Ни одного происшествия в городе не обходилось без участия Мнесилоха, ни одного праздника, ни одной церемонии.

МЫШИ, ТОРГОВКИ И ЛЕПЕШКИ

У Диониса, моего бога, много имен. Когда он, весной, называется Эвантом — цветущим, люди веселятся, плетут венки из мяты или сирени, поют задушевные песни. В разгар жаркого лета он бывает Бессареем — неистовым. Осенью, когда кончается жатва, его называют Иакхом. Ночью с факелами в торжественном шествии народ несет статую бога в Элевсин, где царствуют богини земли — Деметра и Персефона.

Но один раз в году, в весенний улыбчивый день, Дионис, по имени Элевферий, делает всех рабов свободными, на один только этот особенно солнечный день! Хмурые господа стараются сидеть дома, а рабы на лугах водят свои хороводы, украшают друг друга розовым шиповником и синим барвинком, ходят друг к другу в гости.

В этот день я спросил у мальчишек, рабов нашего храма:

— Хотите есть, мелюзга?

— Хотим! — без запинки отвечали мальчишки. Еще бы! Килик лучше сгноит припасы, чем даст лишний кусок рабам.

— Тогда ловите мышей, зверята!

— Зачем мышей? — послышались недоуменные голоса.

— После узнаете.

И мальчишки принялись за дело. Стянули у повара кусочки сала, использовали их как приманку. Мышей в кладовых храма было видимо-невидимо; они ели ту самую снедь, которую накапливал Килик. Мы караулили и хватали мышей ловчее, чем заправские кошки, и уже через час корзинка с крышкой была набита мышами.

Мальчишки дружно двинулись за мной. Килик проводил нашу ораву подозрительным взглядом. Но что он мог сказать? Этот день был наш!

Афинский рынок — самое многолюдное место на земле. Кого тут только не встретишь! Киммериец продает меха, сириец — ковры. Печальный перс с испуганными глазами свистит в дудочку, и над корзиной покачиваются головы ядовитых змей. Глазастые марафонцы продают пахучие дыни, клянутся, бьют себя в ребристую грудь и врут безбожно. Горшечники из Керамика равнодушно дремлют у пирамид своих расписных сосудов.

Прогуливаются важные стражники-скифы, курносые и белобрысые, держат за спиной красные палки, которыми они расчищают путь телегам и всадникам, а иной раз дубасят дебошира и пьяницу.

Мы опасливо обошли ряд, где продавали рабов (кто же из нас

не обойдет это место с замиранием сердца?), и пришли к обжорному ряду, где едят и пьют, кто сидя на земле, кто прямо верхом на осле, а кто взобравшись на повозку и колесницу. Шум стоит невыносимый — гул голосов, ржанье лошадей, вопли ослов, скрип телег.

А торговки, торговки!

Они мне представляются в виде свирепых Эвменид — богинь мщения. Все они черные, носатые и ужасно худые или, наоборот, распухшие от жира. Все, как одна, горластые, они любят махать перед носом покупателя цепкими руками. Когда покупатель входит на рынок, они улещают его ласковыми словами, называют красавчиком, сулят в жены дочь персидского царя. Если же покупатель проходит мимо, они позорят его прабабушек и прадедушек, пытаются ухватить за край плаща, словно хотят растерзать.

У них продаются лепешки — сдобные и мягкие, у них — камбала, прозрачная, как сон, у них — вареная требуха, при одном взгляде на которую урчит в желудке.

План действий у нас разработан по дороге. Я вынимаю двух мышат, взбираюсь на штабель корзин и ближайшей торговке запускаю одного за шиворот. Торговка визжит, простирая руки. Остальные в недоумении оборачиваются к ней. Тогда, пользуясь замешательством, я кладу второго мышонка за шиворот другой торговке.

— Мыши! Мыши! — орет она, а мои мальчишки швыряют мышей пригоршнями прямо на головы торговок.

Здесь начинается что-то похожее на землетрясение или на битву богов с титанами. Женщины кричат, вытряхивают мышей из платьев, некоторые катаются по земле; мужчины ничего не могут понять, их тоже сбивают с ног получается куча мала. Подносы с лепешками, корзины с сыром, лотки с жареной рыбой опрокидываются — еда рассыпается по земле.

— Хватай, ребята!

Мы набиваем пазухи, кладем во рты, зажимаем в кулаках, вертимся, выворачиваемся, расталкиваем, пролезаем...

— Воришки! Держите! — слышится вслед нам пронзительный вопль.

Столпилось много народу, стражники с красными палками были начеку, и нас поймали. И повели нас, с расквашенными носами, руки назад, точно пойманных морских разбойников. Рыночная толпа ревела — готова была нас съесть живьем.

Мнесилох оказался рядом, он шел, стараясь рукой оградить меня от щелчков и зуботычин. По другую сторону спешила торговка, которой я первый запустил за хитон мышонка; она

крутила мое бедное ухо и кричала на все Афины:

— Я Миртия, я — дочь благородных Состраты и Анкимиона. Кто меня не знает от Олимпии до священного Делоса?

— Я тебя не знаю, — возражал Мнесилох; глаза его были прищурены (может быть, он обдумывает, как бы нас выручить?). — Но теперь я узнал, что ты ехидна, как змея, и безобразна, как Горгона.

— Ах ты, старый шут! — Старуха остановилась и уперла руки в бока. Народ сейчас же образовал круг в предвкушении интересного зрелища. — Ты заодно с воришками, бездельник!

— А что они у тебя украли? — спросил Мнесилох.

— Как — что? Лепешек на десять оболов, и калачей на четыре, да привесок в полтора фунта...

— Ну, — возразил Мнесилох, — на такие деньги можно целую фалангу воинов прокормить, не то что этих тощих мальчишек. Может быть, это у тебя кто-нибудь взрослый поел. Я заметил, у тебя под прилавком прятался какой-то бородач и все жевал, жевал...

Со старухой сделалась истерика. Я опасался, что она тут же помрет от разрыва сердца. Она и заклинала хохочущую публику, и плевалась в сторону Мнесилоха.

— Делайте свое дело, — строго сказал Мнесилох стражникам, а нам подмигнул: не бойтесь, мол, идите с ними. — Доставьте мальчишек к судьям-пританам, пусть они поступят по закону!

И стражники повели нас дальше, с трудом выбравшись из толпы. Никто не последовал за нами, все остались смотреть на спектакль, который разыгрывал Мнесилох с торговками.

У ограды Пританея нас ожидал Килик, стоял, расставив ножки-лучинки. Какой-то благодетель его уже предупредил — вызвал. На нас Килик даже взгляда не бросил.

— Благороднейшие господа! — обратился он к скифам. — Отпустите этих мальчишек, они мои рабы. Я сам накажу их.

— Как отпустить-то? — сказал один из стражников. — Начальник ругать будет, большой убыток бедным скифам...

По-видимому, Килик уже побывал и в Пританее, потому что оттуда из окна кто-то повелительно махнул рукой. Килик роздал стражникам по монете и каждому пожал руку. Скифы удалились, голгоча по-своему, а мы поплелись униженные, опустив головы; шли гуськом по каменистой тропинке, а Килик сзади шипел:

— Ославили на весь город... Кто теперь в Афинах не скажет, что Килик не кормит рабов, не бережет скотину бога Диониса?..

СКУПЩИКИ ДЕТЕЙ

Через несколько дней во дворе храма появились двое: один — лидиец, такой заросший, что казалось, его бороде тесно на лице и она растет и под мышками, и на груди, и на ногах. Другой — египтянин, в длинной полосатой юбке, с высокомерной головой, выбритой, как блестящий шар.

Они сидели в полутемной комнате у Килика, обмахивались веерами. Туда по очереди водили наших мальчишек. Килик и чужеземцы что-то обсуждали, спорили, иногда даже кричали.

Вечером рабыни, придя с работы и услышав о странных гостях Килика, встревожились, собрались у дверей его дома, молча ждали. Килик вышел к ним и, против обыкновения, не угрожал, не ругался.

— Что вы, девушки? — лебезил он. — Кто вам сказал, что я затеял что-то против ваших сыновей? Эти чужеземцы — врачи. Я хочу всех рабов подвергнуть осмотру: ведь я пекусь о вашем здоровье...

На другой день вызвали и меня.

Килик снял с меня всю одежду, и я стоял перед чужеземцами голый, поеживаясь от стыда и еще оттого, что с моря дул свежий ветер и моя кожа покрылась гусиными пупырышками.

— Стой ты, не ворошись! — приказал Килик. — Подними-ка руку. Посмотрите, какой он юный, а какие уже мышцы!

Черноволосый лидиец цокал языком:

— Ах, хорош мальчик!

Скуластое лицо египтянина было бесстрастно.

— Красивый мальчик, ведь правда? — продолжал расхваливать Килик. — Аполлон свидетель, другого такого кудрявого и глазастого не сыщете в целой Аттике. А если б вы видели, какой красавицей была его мать! Больших денег стоила женщина!

Лидиец предлагал цену — Килик несговорчиво качал головой.

— Плох мальчик, — прервал их египтянин. — Цена дорога. Совсем маленький, а сколько хочешь? Клянусь Сераписом, его еще откармливать надо... Пять лет откармливать — какие расходы, какие убытки!

Мне даже стало досадно, что он так меня охаял, а Килик замахал руками:

— И! Совсем не надо откармливать! Гляди, какой сильный. Тут же перепродашь за хорошие деньги.

Видя, что лидиец и египтянин больше не щупают мне колени

и лопатки, он приказал:

— Одевайся, иди!.. — И продолжал уговаривать чужеземцев: — Я и сам хотел сначала дать ему подрасти, потом отвезти на Делос — продать. Но вы же знаете мои обстоятельства...

Во дворе у колодца, опершись на клюку, пил воду Мнесилох. Он улыбался впалым ртом сквозь плешивую бороденку; ветер трепал складки его многочисленных одежд. Рабыня подавала ему ковшик и что-то рассказывала.

Чужеземцы покинули Килика и выходили в ворота. Мнесилох спросил меня, кивая на них:

— Эти люди и тебя осматривали?

У Мнесилоха под глазом синела опухоль. Я поморщился от сострадания. Мнесилох захохотал:

— Без тумака, без шишки не поешь и пышки! Наши торговки передали моему глазу поклон от твоих мышей. Вот теперь можно отгадывать загадку: что на спине бывает красным, а под глазом синим?

Он поднялся к Килику, постукивая посохом, а меня позвал садовник Псой — носить ему воду на грядки. Я таскал лейки и останавливался передохнуть у крыльца дома Килика.

— Ты слышишь, жрец? — доносился оттуда голос Мнесилоха, и в этом голосе звучала медь угрозы. — Ты хорошо понял?

Они меня не замечали, а я мог видеть лицо Килика. Килик растерян — вот как?

— Ну ладно, — терпеливо сказал Мнесилох. — Если ты, жрец, запамятовал, я тебе повторю всю эту историю. Итак, при Марафоне наша конница захватила царскую палатку с сокровищами — там были и посуда, и бриллианты, и серебро. Помнишь, жрец?

Килик молчал.

— Чудесно, — продолжал Мнесилох. — Рядом была яма — вражеский окоп. В яму сложили сокровища, застелили досками временно, чтобы уберечь от перипетий битвы. На доски навалили убитых; попал туда и я. У меня была отрублена рука. Вскоре битва переместилась в другой конец поля, а к яме подкрались неизвестные, сбросили трупы... Я как раз очнулся и все видел, всех запомнил... До сих пор архонты и жрецы ищут похитителей... И знаешь, почему не найдут? Потому что сказано: ищи вора в своей норе!

Килик бормотал что-то невнятное и машинально отковыривал штукатурку... Это он-то, хозяйственный Килик!

— Молчал я! — горестно вздохнул Мнесилох. — Молчал все годы, потому что жил из милости при сильных, при тех, кто разбогател на краденых сокровищах! А что мне стоит, Килик, а?

Завтра пойти в народное собрание и объявить имена похитителей? А ведь среди них был один младший жрец, и звали его...

— Алкамен, Алкамен! — кричал с огорода Псой. — Куда ты пропал? Неси же скорей воду!

Вечером Килик за какую-то мелочь выдрал меня за ухо. Но я привык к неожиданным наказаниям и не плакал по пустякам.

Утром, когда распределяют работу на день, Килик велел женщинам идти на самый дальний виноградник. Как всегда, и дети собрались вместе с мамами. Однако на этот раз Килик отпустил на виноградник только девочек, а всем мальчикам приказал остаться. Женщины тревожно распрощались с сынишками, ушли.

Меня внезапно служители храма схватили и заперли в чулан, который служил иногда домашней тюрьмой. Сквозь решетку маленького окна до меня весь день доносились чужие гортанные голоса и громкий детский плач. Потом все смолкло, и меня выпустили.

Пыльный двор, нагретый солнцем добела, на котором всегда бегали, скакали, носились взапуски мальчишки, был пуст. Килик продал всех мальчиков, кроме меня! Чему я обязан своим спасением от лап работорговцев? Заступничеству Мнесилоха или каким-то замыслам Килика?

После заката возвратились с работы женщины. Их сердца чуяли недоброе. Еще не доходя до храма, они побежали и, запыхавшись, кинулись в сараи, где жили рабы, искать детей.

Как они кричали, как рыдали! Ветер носил по двору клочья волос, вырванных ими в отчаянии. Одна пыталась покончить с собой — ее вынули из петли. Всю ночь никто не спал — матери звали сыновей, другие их утешали. И все почему-то проклинали меня: мол, из-за моих проделок детей продали, а сам я уцелел.

Очень пустынно и гадко было у меня на душе.

Килик ходил в сопровождении надсмотрщиков с палками — боялся женщин. А мне сказал:

— Надоел ты мне, видеть тебя не могу. Ступай в театр — прислуживай там.

ТЕАТР

Итак, я — мальчик при театре Диониса. Старик Мнесилох рассказывает, что, когда он был маленьким, театров не было.Ходили бродячие актеры, наряжались в бородатые маски сатиров, к ногам привязывали копыта и пели хором. Запевалой у них был кто-нибудь из жрецов Диониса, и пели они про скитания этого веселого бога, пели козлиными голосами, из-за чего народ и прозвал их представления «трагедией», что значит «песня козлов». Аэды, которые ходят с арфой по рынкам и по усадьбам аристократов, воспевая царей и героев, не любили «козлоногих» артистов, поэтому аристократы по их наущению гнали и преследовали бедных служителей Диониса.

Потом Писистрат, тот самый, который хотя и был тираном, но защищал простой народ, учредил праздник — Великие Дионисии. А во время этого праздника — представления трагедий в специально отведенном месте — театре. Театр был воздвигнут возле храма Диониса. В этом театре я и служу.

Моя обязанность — вместе со взрослыми рабами вытирать скамьи, которые полукругом поднимаются по склонам Акрополя, выщипывать траву, если она лезет между скамей и каменных плит, убирать помещения для актеров и жрецов. Все это очень скучно и утомительно, тем более что за работу дают скудный паек; его съедаешь еще утром, а вечером ложишься спать голодным. Назавтра опять то же самое. Так и идет день за днем.

Вечером, после захода солнца, рабов собирают, строят в шеренгу, пересчитывают и уводят ночевать. Я же остаюсь в каморке под сценой — мне доверяют: я маленький, никуда не убегу, а сторожить театр кому-то надо.

Там я и ночую, среди пыльных масок и пропахших клеем декораций, не обращая внимания на шмыганье крыс и шорох летучих мышей.

Надвигаются праздники, и в нашем унылом театре все преображается. Первым является веселый живописец Полигнот. Он заново расписывает маски, обновляет их так, что они сияют, словно облизанные. Полигнот работает и поет приятным баритоном; сквозь отверстие в потолке на него падает яркий луч, и кудрявая золотистая шевелюра художника светится, словно ореол бога Солнца. А когда он разжигает жаровню, чтобы разогреть свои восковые краски, по всем помещениям пахнет сладким медом. Он богатый человек, этот Полигнот; он трудится у нас бесплатно, ради почтения к богу Дионису. Вместе с его приходом и все приободряются, оживают; все обмениваются с ним

улыбками, а он беззаботно шутит, даже с рабами.

В полдень к нему приходит его невеста, Эльпиника, девушка из знаменитой семьи, дочь Мильтиада, победителя при Марафоне. Отец оставил им одни долги, поэтому у нее нет рабынь и она сама приносит обед жениху в корзиночке, красиво прикрытой виноградными листьями. Непременно или кисть винограда, или кусок сладкой булки достаются мне, а Эльпиника при этом гладит меня по голове своей полной и легкой рукой. Вот бывают же и среди аристократов сердечные люди.

Затем являются поэты: высокий медлительный Эсхил, с голубыми, неподвижными глазами, всегда изящно одетый и старательно обутый; его соперник Фриних — маленький, суетливый, забывчивый, неряшливый. Всегда он какой-то несчастный, и всегда за ним волочится по земле развязанный шнурок от сандалии. Фрйних говорит, говорит без умолку, а Эсхил редко роняет слова, наверное, ум его занят обдумыванием стихов высокого смысла. Это внушает мне почтение и любопытство, а Фриниха я и птицей не считаю, могу даже ему на шнурок наступить, чтобы он споткнулся.

За поэтами приходят хореги — богатые и знатные граждане, которые в силу жребия или просто ради чести на свой счет устраивают театральные представления. Хорёги приводят за собой певцов и музыкантов; за ними толпятся комедианты, чтобы развлекать зрителей в перерывах; торговцы, чтобы продавать пирожки и прохладительные напитки; гадатели, чтобы дурачить простодушных крестьян и чужеземцев; жулики, чтобы выворачивать чужие кошельки. Последним является знаменитый артист, как полководец, в окружении свиты учеников и поклонников.

И вот настает день представления. Каждая фила, каждая община размещаются точно на предназначенных местах; если кто заблудился, старейшины перегоняют его в другой конец театра.

Вот все утихает. Появляется царственный старец, архонт-эпоним, в окружении других архонтов, стратегов и жрецов; он усаживается в почетное кресло, дает знак, и представление начинается.

Во время представления у меня множество дел: по знаку Килика (он и в театре распоряжается) я вместе с другими рабами должен бегом нести на сцену декорации и тут же расставлять их. Если по ходу действия полагается лес мы ставим дерево, если дворец — ставим колонну или дверь. Если ночь — я дергаю шнур, и над орхестрой — местом, где играют актеры и движется хор, опускается финикийское, дивной работы, покрывало, непроглядно черное, а на нем нашиты серебряные звезды.

Но это еще не все. В мою каморку поочередно забегают то первый, то второй актеры и требуют переодеваться: тот — царицей, другой — пастухом. Не успеем мы перевести дух, как они прибегают вновь и приказывают, чтобы их переодели богами,

и так далее.

В мгновение ока мы надеваем им на ноги высокие котурны, меняем маски, а пока меняем, вытираем вспотевшие лица и даем прохладной воды. Затем накидываем подходящие к роли цветастые хламиды или расшитые парчой платья и выпроваживаем на орхестру, где тем временем действует хор, изображающий то старцев, то толпу девиц, то бурю, а то и гнев богов.

Несладко нам приходится, но не слаще и актерам. Ведь их всего двое, а действующих лиц в трагедии множество. Вот и приспосабливайся, меняй маску, меняй голоса — то женский, то старческий, то певучий, то брюзгливый, то нежный.

Да и то спасибо голубоглазому Эсхилу — ведь это он ввел, говорят, второго актера, а до него был только один. Вот, наверное, бедняга маялся!

И все же, если бы я не хотел быть матросом, я бы стал актером. Они поистине как боги. Могут перевоплощаться в любого человека по желанию поэта и по умению самого актера.

НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Иногда ночью, когда созвездие Медведицы укатится за острые пики кипарисов, в театр заходит Мнесилох: ему у богатых людей не спится.

Я боюсь проспать его появление, поэтому мои глаза сами открываются, заслышав постукиванье его палки. Я разлепляю глаза, таращу их в небо. Сквозь прорезь в потолке я вижу крупные звезды, которые переливаются, как россыпь углей, припудренная лунной пылью.

А Мнесилох постукивает, негромко кашляет, вздыхает, вполголоса призывает милость богов. Я знаю, что он неторопливо пробирается между скамей, спускается к самому почетному первому ряду. Там он садится в высокое каменное кресло жреца Диониса и ждет, не проснусь ли я.

Но я непременно проснусь! Бегу босиком по шершавым, еще теплым от дневного солнца плитам, забираюсь на резную ручку кресла. Мнесилох накрывает меня полой своего плаща, чтобы мне не повредила предутренняя сырость. Он приносит мне от стола богачей пироги, засахаренные маслины, печенье — целое пиршество! Он припасает мне также самые свежие новости:

— Мидяне, или персы, как их иначе называют, уже перешли Геллеспонт. Сегодня один моряк рассказывал: волны разрушили гигантский мост, построенный по приказу персидского царя. Царь разгневался, велел заковать море в цепи и высечь его плетьми. И вот кинули в море кандалы, а волны секли плеткой во исполнение царского приказа.

Мне стало смешно — великое, могучее, безбрежное море заковать в кандалы! Стремительные, мощные, пенистые волны стегать плеткой! Разве эти волны — рабы, такие же бессильные, как мы?

Мнесилох, однако, не улыбнулся. Он завернул в тряпицу остатки ужина, сказал задумчиво:

— Боги гневаются на светлый город Паллады. Новый царь мидян Ксеркс поклялся, говорят, город наш испепелить. Сна лишился — Марафон ему как шпилька в перине.

Сколько раз по моей просьбе Мнесилох повторял рассказ о Марафоне! О том, как после разгрома сухопутного войска мидян их флот повернул на юг, надеясь быстро обогнуть мыс Суний и врасплох захватить беззащитные Афины. Тогда афиняне покинули марафонское поле и, построившись по филам и фратриям, бегом пустились на защиту родного города.

Мнесилох во время рассказа возбуждался, вскакивал,

размахивал единственной рукой, описывая, как гоплиты с тяжелым топотом пробегали через поселки, сопровождаемые лаем собак и воплями женщин; как девушки бежали за ними с кувшинами в руках, предлагая на бегу утолить жажду; как в лица воинам плескали холодной водой, чтобы хоть как-нибудь облегчить тяжесть бега в доспехах по жаре.

Мнесилох со вздохом добавлял, что лично он этого не видел, потому что метался в горячке у врачей. Но все же, заканчивая рассказ, описывал, как наутро персидский флот подошел к афинскому берегу и как мидяне увидели лес копий и стены щитов.

Ах, зачем я не свободный! Я сейчас ушел бы в войско, попросился бы хоть лошадей чистить, хоть носить чей-нибудь тяжелый щит.

А Мнесилох тем временем ворчит:

— Хуже всего, что нет единогласия: один туда, другой сюда, третий совсем никуда. Легкомыслие какое-то... Слышал, какую песенку распевают в харчевнях и винных подвальчиках? «Будем пить и веселиться и не думать о войне с мидянами...» А там по мосту через Геллеспонт день и ночь идут полчища персидского царя!

Он горестно качал головой, а мне становилось жутко и весело. Там, далеко, в варварском краю, по деревянным настилам вышагивают, важно колыхаясь, мохнатые верблюды, катятся боевые колесницы, проносится легкокрылая аравийская конница. Скоро война придвинется и к стенам Афин. Мне представится случай совершить подвиг, и я непременно стану свободным.

А Мнесилоха все гнетут мрачные мысли. Днем ему приходится ломать свои комедии, а ночью он со мной отводит душу: я слушатель бессловесный.

— Главное — единства нет. Спартанцы воду мутят. Правда, они и при Марафоне нам не помогли, всё медлили с помощью, выжидали кто кого. Тогда зато афинский народ был един, и единый вождь был — Мильтиад. Теперь и вождей много, и раздоров хватает. Мнения единого нет: Фемистокл, а с ним диакри, бедные жители гор и паралии, моряки и торговцы требуют создать сильный флот. Аристид и педиэи — землевладельцы — кричат: вооружить всех от мала до велика, драться за каждый клочок пашни, за каждый поворот дороги. Фемистокл возражает: вот, говорит, вас и растерзают на этих клочках, количеством задавят. А народное собрание заседает без перерыва: делит сено между львами и ждет, когда на лопухе дыня вырастет!

Чтобы отвлечь старика от грустных мыслей, я устраиваю ему

спектакль. Ведь я присутствую при всех репетициях и представлениях и отлично запоминаю слова, реплики, куплеты, мелодии.

Звонким голосом (хотя и не очень громко, чтобы не услышал кто чужой) я нараспев декламирую пролог и выхожу на орхестру. Брезжит далекая заря, и Мнесилох может видеть, как я копирую важную походку и плавные телодвижения актеров. Мнесилох смеется. Тогда я один за целый хор пою парод — выходную песню хора. За актера я произношу монологи — эписодии и сам вместо хора отвечаю стасимами — стихотворными куплетами.

— Эй, эй, погоди! Здесь ты неправильно делаешь. Вот так надо, вот так! — Мнесилох вылезает на орхестру и, прихрамывая, показывает мне позы и походку трагических актеров.

Наконец я торжественно пою эксод — заключительные строфы трагедии, и Мнесилох мне подпевает дребезжащим голоском.

— Актер, ты настоящий актер! — восторгается он. — Гляди-ка, теленок вырос и может слопать льва!

Я кричу ему в ответ, что не хочу быть актером, хочу быть моряком или воином.

Однажды наше бурное веселье разбудило жреца Килика. Взяв посох и поеживаясь от утреннего холодка, он вышел к театру, чтобы посмотреть, что за шум.

— Ах ты, сын греха, раб собачий! — накинулся он на меня. — Да пожрут тебя гарпии, проклятый! Что ты расхаживаешь как бойцовый петух, как ты смеешь осквернять театр ночными криками и безобразием?!

Он уже замахнулся на меня, но Мнесилох подоспел и отвел его посох.

— Не тронь мальчика, жрец. Ребенок ли, звереныш ли, сын ли раба — всё дети.

Килик спрятал посох за спину, спрятал руки под хламиду, спрятал глаза в приятной улыбке. Спасибо Мнесилоху, знает он волшебное слово на этого дракона!

ЕЩЕ ОДИН ВРАГ

Ксантипп, богатый кораблевладелец, однажды попал в бурю. Валы обломали мачты, захлестнули трюмы и вот-вот готовы были перевернуть корабль. Однако, как рассказывает Ксантипп, он стал молиться Дионису — покровителю путешествий. И — о чудо! — буря улеглась, спокойные волны принесли корабль к зеленому острову, где можно было и судно починить, и людям передохнуть. Благодарный Ксантипп выделил храму Диониса богатую часть из спасенного груза — слоновую кость, аравийские благовония, черных рабынь. А в придачу раба-скифа, только что выловленного в степях у далекой северной реки.

Когда новичка ввели во двор храма, все сбежались посмотреть на это диво. Огромный, полуголый, несчастный, он жадно ел все, что подкладывал ему повар.

— Глядите, он уже свиную ногу доедает! — хохотали рабы. — Вот утроба! Хорошо, что тот же Ксантипп отвалил богам целую гору жертвенного мяса. Иначе пришлось бы этому скифу довольствоваться луком да репой. Ничего, браток, еще поголодаешь на нашей пище!

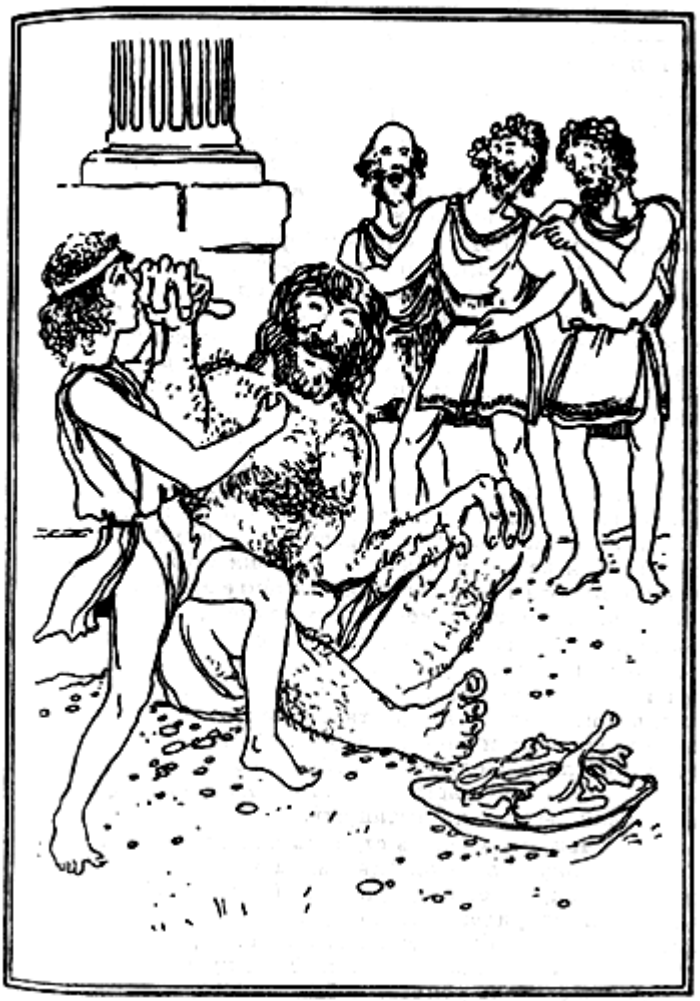
— Какие мощные ноги, прямо столбы! — изумлялись рабы. — А шерсть рыжая растет и на груди и на ногах.

Вышел Килик, подивился, как скиф жует могучими челюстями. Настоящий медведь!

Так и осталось за новичком прозвище «Медведь». Рабы ведь не носят имен, их зовут для удобства по названиям их инструментов. Кто работает в поле, зовут «Эй, Лопата!», кто трудится в мастерской, окликают «Эй, Шило!». Только я ношу эллинское имя, потому что я прирожденный грек, да вот теперь этому варвару дали зверское имя — Медведь.

Килик велел его напоить. Повар подал скифу кувшинчик. Медведь воду выдул одним глотком.

Все смеялись и показывали на него пальцами; он же не понимал ни слова, добродушно ухмылялся, ковырял в зубах веточкой и загибал за плечо руку, чтобы почесать спину, тоже обросшую рыжей шерстью.



Я смотрел разинув рот — ну и сила! Он взглянул на меня, вдруг взял за руку и притянул к себе. Двумя слоновьими пальцами он защемил мой нос и притянул к себе. Быть может, в Скифии это и ласка — Медведь ухмылялся во все зубы и гладил мою спину шершавой ладонью, но все, кто тут был — и жрецы, и рабы, — грохнули хохотом:

— О-ох, Алкамен, хо-хо-хо!

— Вот это сморкач — ха-ха-ха!

И долго еще издевались надо мной языкастые афиняне. Увидят, бывало, издали и кричат:

— Эй, мальчик, как твой нос, цел? Медведь его тебе не вывинтил?

Какой позор! Я возненавидел скифа, его медвежью фигуру, добрую улыбку, пряный запах пота.

Килик определил его в театр, и во время представлений Медведь ворочал рычаги, приводя в движение площадку сцены, или поднимал на особой машине актеров, изображавших богов.

Однажды мы отпросились к берегу искупаться. Медведь очень напугался при виде моря. Наверное, блистающие волны, которые стелются одна на другую, напомнили скифу черные дни, когда его изловили и по такому же ласковому морю увезли на чужбину. Он сел на песок в десяти шагах от прибоя, а в море не пошел. Его стали дразнить и кидаться камушками. Особенно, конечно, издевался я. На меня какое-то бешенство напало. Я прыгал, выпячивал челюсть, передразнивая, как Медведь жует, изображал разлапистую его походку.

Люди смеялись и хлопали в ладоши. Неподвижный Медведь сутулился, а я не замечал, что в его глазах копится гнев. Неожиданно он распрямился, как пружина, и бросился за мной. Началась погоня по песку, по кромке прибоя под крик и улюлюканье зрителей. Я уже чувствовал на затылке сопенье скифа, уже его лапа дважды соскальзывала с моего плеча, — мне ничего не оставалось, как кинуться в море. Пока мы бежали, шумя водой по мелководью, он не отставал от меня, но, когда я поплыл, Медведь стал барахтаться, закричал от неожиданности и пошел на дно. Он не умел плавать, этот житель безводных степей! Я осмелел, принялся плескаться вокруг него, а он стоял на дне, высунув ладони, как бы умоляя вытащить.

Наконец ему удалось ступить на мелкое место. Я не успел увернуться он схватил меня и высоко поднял над головой, занес над прибрежными камнями, между которыми струилась утекающая пена. Шмякнул бы он меня — и душа бы из меня отлетела.

Я зажмурил глаза — что же? Он прав. В этом мире всегда победитель убивает побежденного.

Но Медведь мягко опустил меня на песок, взъерошил мои волосы и ушел, смеясь, отплевывая соленую воду: рыжая шерсть его светлела, высыхая. А я поплелся униженный — не Медведь, а я!

С тех пор мне показалось, что Медведь — мой враг, враг хуже, чем Килик. Я строил скифу каверзы — сыпал землю ему в кашу, а он ел, скрипя песком на зубах, потому что никогда не наедался досыта. Раз я перерезал ему ремни сандалии — он запутался и упал; все смеялись, а Килик велел скифа высечь за испорченную обувь. Я понимаю, он имел полное право надавать мне подзатыльников или вывернуть ухо (вы знаете, какая у него

ручища? Как у циклопа!). Но он не считал меня равным противником, при встрече даже приветливо махал мне рукой. Вот это-то и выводило меня из себя!

Он быстро научился греческому языку, хотя и говорил, коверкая слова, как будто у него во рту был не язык, а обрубок. Взрослые рабы стали относиться к нему с некоторым почтением, потому что он усмирял драки, мирил ссорившихся, даже разбирал тяжбы, которые рабы не хотели выносить на суд хозяев.

Как-то Килик на вечерней поверке пригрозил ему, что сошлет в рудники, если он не перестанет собирать вокруг себя рабов и шептаться с ними.

Я злорадно подумал: «Хоть бы сослали, вот бы он порастряс свою геракловскую мощь в мрачной и сырой шахте!»

РОЖДЕНИЕ «БЕЛЛЕРОФОНТА»

В народном собрании была буря. Аристократы штурмовали Фемистокла, вождя демократии, — он требовал средств на постройку кораблей. Крик афинян, как вал многошумного моря, хлестал в крутые скалы Пникса. Фемистокл простирал руку и укрощал собрание, как, наверное, Посейдон усмиряет свирепый прибой океана. Но к обеду он натрудил горло, махнул рукой и отошел. Тогда Ксантипп, тот самый, который когда-то прогонял Мнесилоха, тот самый, который подарил храму скифа, Ксантипп ринулся ему на выручку!

— Не спасетесь вы от мидян! — кричал он. — Высокие стены и амбарные щеколды вам не помогут. А нам, мореходам, терять нечего — все наше на корабле. Даже если не отстоим город, пусть ветры потрудятся, раздувая щеки: поплывем искать новую родину!

Аристократы порывались стащить его с трибуны, замахивались посохами, а моряки и торговцы скандировали:

— Де-нег на флот! Де-нег на флот!

Вышел тихий Аристид и вкрадчиво сказал:

— Ты, Ксантипп, много кричишь, много шумишь. У тебя денег куры не клюют — построил бы корабль во славу Паллады.

Аристократы притихли от радости, думали, что Ксантипп ухватится за кошелек и спрячется в толпе. Но Ксантипп упрямо мотнул черными кудрями. Оратор он был плохой — говорил визгливым голосом, кривил рот, от волнения заикался. Но его ответ выслушали без обычных насмешек и свиста.

— И что ж, и построю. А когда построю, пусть каждый из толстопузых аристократов, червей земляных, тоже построит корабль. Кто пятьсот медимнов зерна собирает, пусть строит большую триеру; кто собирает триста, пусть хоть галеру построит.

И он, Ксантипп, построил трехпалубный, мощный, вооруженный острым тараном корабль. И назвал его «Беллерофонт», в честь легендарного героя, который летал на крылатом коне Пегасе.

Настал час, когда «Беллерофонт» спускали на воду, и в этот день Ксантипп снова не поскупился. На бронзовых пиках жарились целые туши быков, вино черпали прямо из чанов.

Из-под днища корабля выбили клинья — «Беллерофонт» пошатнулся. Дубовые ребра и сосновые мачты его заскрипели, он медленно двинулся к воде по каткам.

— Уксусу, рабы, уксусу! — бесновался перед огромным

кораблем маленький Ксантипп. — Поливайте катки, не видите, что ли, — они дымятся от трения!

И вот грузный корабль достиг моря и ринулся в волны резным носом, поплыл, закачался на морской зыби. Афиняне дружно закричали, и от их крика испуганные чайки взлетели под самые облака. Тут начался пир! И тут была нам, рабам, задача: свежевали, потрошили, жарили, шпиговали. Колбасу кровяную поливали медом, резали круглый пирог с сырной начинкой, разносили. То и дело кто-нибудь требовал:

— Эй, мне чесночной похлебки с солью!

— А мне рыбки со сладкой подливкой!

Вскоре затянули нестройную песенку:

Попался барашек, попался в похлебку!..

Только под утро замолкли удары бубнов и барабанов, погасли огни пиршественных костров. Когда утренняя заря взбежала на небо, уже все разошлись; только отдельные гуляки брели, держась поближе к заборам. Килик приказал положить в храмовые носилки бесчувственного Ксантиппа, взгромоздился сам, и рабы их потащили, покряхтывая от тяжести.

Когда носилки достигли храма, Килик вылез и приказал:

— Отнесите Ксантиппа к нему домой!

А Ксантипп, высунув прыщеватый нос из-за занавесок, орошая песок слезами, усталым голосом сказал:

— Голубчик, Килик... Прекрасный ты человек! А ведь рассказывают, будто ты похитил персидские сокровища после битвы при Марафоне... Но я не верил, можешь залепить мне грязью в глаза. Хоть ты и аристократ, но ты добрейший...

Килик сжал губы и отступил от носилок.

— Что вы стойте! — заорал он на носильщиков. — Несите его, кому сказано! Развесили уши... А ты, Алкамен, а ты, Медведь... — он тыкал пальцем в первых подвернувшихся рабов, — вы пойдете его провожать. А не то, что скажут люди? Скажут, Килик отпустил такого уважаемого человека без подобающей свиты!

А утреннее солнце уже щедро ласкало кривые улочки предместий, зеленые своды аллей, мраморные храмы, многолюдные площади, роскошные бани. Забыв о ночной усталости, мы любовались этой ясностью и вовсю вдыхали свежий воздух. Только один человек ничего этого не видел и не чувствовал. Он поминутно высовывался из носилок и бормотал в

напряженные спины рабов:

— Что, собачьи дети, ждете прихода персов? Прежде раб своим был в доме человеком... раб моего деда, Памфил, три поколения господ нянчил... А вы думаете, мидяне принесут вам освобождение? Как бы не так: продадут на одном рынке вместе и вас и нас...

Медведь запихивал его за занавеску, чтобы прохожие не видели. А он высовывался и тыкал пальцем Медведю в грудь:

— Ты, рыжий... Я тебя знаю... Килик рассказывал... Ты что же, рабов подбиваешь к побегу?.. Ха-ха-ха! До твоей родины тысячи стадий — я знаю... Я старый мореход. Халкида, Милет, Эфес, Византий... — Он загибал непослушные пальцы. — Херсонес!.. Везде стражи и доносчики наготове, схватят вас, как чижиков. Что тогда? — Он пытался выпрыгнуть, высовывал ноги, хохотал. — Тогда что? Рогатки на шеи — и в рудники, на медленную смерть, ха-ха-ха!

Впрочем, чувствуя, что мы приближаемся к дому, он стал приходить в себя. Слабым голосом попросил, чтобы его вынули, захотел идти по свежему воздуху и пошел, опираясь на мое плечо и на могучую шею Медведя.

ДЕВОЧКА

Мы пересекли город, вышли из двубашенных ворот и свернули направо. Скоро там, где высятся пирамидальные тополя, могучие, как обелиски, показался белый Колон — тихое предместье Афин. Вот дом Ксантиппа, вот и канава, из которой я некогда вытащил Мнесилоха. Ксантипп приосанился и был похож на те отполированные ветром и солнцем фигурки, которые красуются на носах кораблей.

Домашние и рабы встретили его сочувственной толпой. Ксантипп прикрикнул на них и ушел в глубь дома. Все кинулись хлопотать о хозяине. Медведь велел носилкам возвращаться обратно, а сам, ощутив запах жареного, раздул широкие ноздри и удалился в направлении кухни. А я вышел в сад.

Как и все дома богатых афинян, дом Ксантиппа был построен в виде четырехугольника; посредине — авла (внутренний дворик). Там под раскидистыми орехами и акациями журчали каскады фонтанов, воздух был пронизан водяной пылью и приятно прохладен. Я никогда еще не бывал в таком богатом доме и в таком красивом саду. Из-за кустарника, подстриженного в виде кубов и шаров, раздались голоса — звонкий детский и нежный девичий. Мое сердце почему-то дрогнуло, как дрогнуло, наверное, сердце Одиссея, когда он услышал издали пение сирен. Странно, я прежде равнодушно слышал голоса девочек, ведь у нас в храме целый девичий хор.

Я сделал шаг за кусты, но оттуда на меня бросилась громадная собака, показывая клыки из-под складок кожи.

— Ого! — Я от неожиданности отпрянул.

На дорожку выбежал кудрявый мальчуган, а за ним — девочка моего возраста.

— Назад, Кефёй, назад! — Девочка прогнала пса, а мальчик кинул мне кожаный красный мяч.

Я отбросил мяч девочке, она ловко поймала, подпрыгнув.

И вся она была, как светлый мед, который пчелы
Из солнца и пыльцы цветов создали...

Ведь так, кажется, сказал поэт?

В то мгновение я совсем забыл, что я — раб. По закону нестриженые космы должны были скрывать мои рабские глаза, но, так как я прислуживал в театре и в храме, искусный

парикмахер делал мне прическу. Наверное, потому меня не сочли здесь рабом.

— Лови, Перикл! — крикнула девочка брату, бросая мяч.

— Кидай мне, вот так. А теперь я брошу тебе, мальчик. Как тебя зовут?

— Алкамен...

— Лови, Алкамен!

Она шутя бросила мяч так, что я не смог его поймать. Мяч ударился о капитель колонны и отскочил прямо мне в лоб.

Если бы вы слышали, как она смеялась!

Вот здесь я и перестал соображать, кто я и где нахожусь. Мне так захотелось чем-нибудь отличиться перед этой необыкновенной девочкой! Я кинул мяч в воздух «свечой» так высоко, что дети задрали подбородки, чтобы увидеть мяч в небе. Я же стоял горделиво, показывая, что совершенно не слежу за полетом мяча, а вот подхвачу его перед самой землей.

Но девочка кинулась, желая сама схватить мяч на лету. Мы столкнулись с ней; оба смутились и отвернулись.

— А где же мяч? Перикл, куда упал мяч?

Мяч упал в большой бассейн и мирно плавал там, покачиваясь. Мы подбежали к бассейну. Перикл, четырехлетний мальчик со странно вытянутой головой, говорил рассудительно:

— Вот, не надо было кидать мяч так высоко. Теперь нужно вызвать раба с шестом: пусть он достанет нам мяч, а то во что же мы будем играть?

Но как тут было не показать мою ловкость? Я подобрал полы хитона и прыгнул в бассейн — там было мелко. Девочка схватила меня за руку:

— Что ты делаешь, Алкамен? Скорее назад!

Я освободил руку, шагнул к мячу, схватил его и победно поднял над головой. Но девочка продолжала кричать, заламывая руки, а мальчик громко плакал, глядя широко раскрытыми глазами куда-то сбоку от меня. Я перевел взгляд туда: ко мне приближалась огромная рыба, и хищная пасть ее была усеяна тысячью острых зубов. В сердце мне как будто холодная игла вонзилась... Я и сейчас еще, если закрою глаза, ясно вижу физиономию этой рабы, которая — о боги! — улыбалась!

Меня охватило оцепенение, а рыба подплыла совсем близко. Тут я не помня себя кинулся из воды и успел выскочить перед самой пастью рыбы.

Девочка дрожала от пережитого страха, выжимала воду из полы моего хитона. Мальчик крепко обхватил мяч, будто хотел уберечь от рыбы и его.

— Откуда ты пришел? — лепетал он. — Ты, наверное, юный

Геракл и укрощаешь львов, змей и других чудовищ?

— Этих рыб отец привез из Египта, — рассказывала девочка. — Здесь их кормят сырым мясом, а там, в Египте, говорят, их кормили живыми людьми.

Тогда, желая показать свое презрение к заморскому чудищу, я сунул руку в воду и схватил рыбу за скользкий хвост. Рыба мгновенно извернулась, но руки моей схватить не успела — я выдернул ее раньше.

Снова испугавшись, девочка обхватила меня и пыталась оттащить от бассейна.

Повелительный голос заставил нас обернуться:

— Мики, что это? Кого это ты обнимаешь?

РАСПРАВА

На крыльце стоял Ксантипп, переодетый по-домашнему — в мягкую белую хламиду.

— Ты знаешь, кого ты обняла? Ведь это раб!

Нужно было бы вам увидеть, как девочка отпрянула от меня, как будто я сам был этой зубастой рыбой!

— Ты, презренный, — продолжал хозяин, — как ты сюда проник, на женскую половину? Как смеешь ты приближаться к дочери Ксантиппа? Свидетель Зевс, я спущу мясо с твоих костей!

Маленький Перикл бросился к отцу, оживленно рассказывая, как я не побоялся зубастых чудищ в бассейне. Но Ксантипп не стал слушать, хлопнул в ладоши и закричал, сзывая рабов.

Вместе с его рабами вышел и Медведь, который успел, видимо, хорошо подкрепиться, тяжело дышал и ковырял щепочкой в зубах. Завидев его, Ксантипп даже обрадовался:

— А вот и второй разбойник, рыжий наглец! А ну-ка, принесите ему розгу, пусть он посечет своего дружка. А ты, малый, снимай хитон!

Я не шевельнулся. Медведь лениво отстранил поданную ему розгу и сказал на своем ломаном наречии:

— Я, хозяин, не могу розгу брать. Сечь не могу, такая моя работа.

Ксантипп рассвирепел:

— Да я тебя... Да я из тебя...

Но великан пожал плечами и отошел в тень крытой галереи, даже не глядя, как Ксантипп перед ним бесновался, словно назойливый комар. Все с уважением смотрели на мощные мышцы скифа. Боги! Почему я не такой силач?

— Эй, вы, чего глядите! — крикнул Ксантипп рабам. Все прыщики и бородавки на его морщинистом лице надулись от злости, стали багровыми. — Раздеть мальчишку, сечь его!

Я не сопротивлялся, когда рабы срывали с меня украшенный узорами театральный хитон. Я зажмурил глаза... Нет, не ожидание побоев меня испугало — терзал стыд: рядом, в трех шагах, стояла девочка Мика. Она хоть и закрыла лицо рукой, но мне казалось, что из-под ладони она с любопытством смотрит, как меня валят носом на дорожку, как толстый раб-домоправитель пробует на пальце крепость розги.

Пока меня секли, все молчали и я молчал, жевал скрипучий песок. Слышался только свист лозы да ветер равнодушно перебирал листву ореховых деревьев. Затем я ощутил, как со спины брызнули теплые капли — кровь. Длинноголовый мальчик

Перикл закричал, заплакал.

— Зачем, хозяин, портишь кожу? — послышался медлительный голос Медведя. — Раб принадлежит Дионису. Бог не любит, когда ломают его имущество. Потом, погляди, сын твой плачет, крови боится.

Ксантипп прекратил наказание, призвал на нас проклятие ада и ушел. Няньки увели детей, а меня рабы вынесли на задний двор, где распряженные быки лениво жевали сено и пили воду из колоды. Меня бросили на кучу сухого навоза и оставили приходить в себя на самом солнцепеке.

Но ни пекло, ни боль не причиняли мне столько страдания, сколько позор. Чудесная девочка Мика видела мое унижение! А скиф, скиф!..

Я представлял себе, как он поведет меня домой и будет скрипеть монотонным голосом: «Дружбы со свободными ищешь? Чистокровный афинянин ты? Мнесилох тебя милостыней кормит, и ты готов ему руки лизать. Красотка, невеста художника, тебя по головке гладит, и ты весь расцветаешь. А она свою собачку так же гладит и так же улыбается — вот заметь! А Ксантипп? Ведь он демократ, друг Фемистокла. Мы все им вроде собак...»

Мне слышались ясно эти его обычные слова. Опровергнуть их было невозможно, но от этого я лишь больнее ненавидел рыжего скифа. Слезы обиды помимо воли текли из зажмуренных глаз. Жарило солнце, спину как будто теркой скребли, все плыло в сознании.

Мне показалось, что кто-то сел на корточки рядом со мной.

— Скорее, Мика, — слышался голос мальчика. — Нас увидят, рабы скажут домоправителю — папа нас оставит без сладкого.

— Ах, какой ты рассудительный! — ответил милый голосок девочки. — Даже противно. Держи-ка вот этот пузырек: здесь целебное масло. Я выпросила его у мамы.

Девочка подсунула под меня руку и поднатужилась, чтобы перевернуть. Нежно, еле касаясь рукой, она мазала мою спину, и мне казалось, что боль утихает и блаженный сон разливается по всему телу. Мне даже снилось ее лицо: мокрое от жары, волнистые пряди прилипли ко лбу, на котором запечатлелась морщинка сострадания. Блестящая слеза на реснице вспыхнула, отражая солнце.

Как она была прекрасна! В тысячу раз прекраснее троянской Елены, о которой поют в театрах!

Мне захотелось сказать ей об этом... Я собрал всю свою волю и поднял голову. Рядом со мной не было никого! Только на песке лежала нелепая тень Кефей, громадная собака, сидел, размякнув от жары, и смотрел на меня, склонив длинноухую голову. Но ведь

не Кефей же мазал меня целебным маслом?

Явился Медведь. Он поднял меня на руки и понес, как ягненка, животом вниз. Пес сначала провожал нас, то и дело забегая за кусты и обнюхивая подворотни. Когда исчез за миртовой рощей белый Колон, отстал и Кефей. Мы остались вдвоем. Скиф не говорил ни слова, только учащенно дышал — ведь я все-таки тяжеловат, а путь не близок. Иногда он присаживался отдохнуть у водоема или под сенью дуплистой липы.

Боль утихла, и меня убаюкало. Мне грезилось, что я уже большой, что у меня густая борода, как у Фемистокла, и я, как он, — прославленный стратег.

Мне виделось, будто гоплиты привели ко мне в палатку связанного тощего Ксантиппа: он будто дезертировал с поля битвы, покинул строй. Я приказываю его сечь: воины срывают с него алый командирский плащ; он падает на колени и молит о пощаде. По его морщинам текут слезы; я вспоминаю слезу Мики и прощаю его...

СОБЫТИЯ НАДВИГАЮТСЯ

Пока наши резвились и напевали: «Будем веселиться и не думать о мидянах», полчища Ксеркса стучались в дверь Эллады. Гонцы приносили одну весть хуже другой:

— Эвпатриды, владыки фессалийских городов, открыли царю ворота...

— Главнокомандующий союзной армией греков, спартанский царь Леонид, отступает без сражений...

На площадях сторонники демократии кричали:

— Если так дальше пойдет, враг без единого боя окажется у ворот! Берегитесь аристократов: они готовы Ксерксу дорогу коврами устлать!

В разгаре весны, когда, как говорят крестьяне, каждый день год кормит, город обычно пустеет — все в поле или на винограднике. Но этой весной город Паллады кипел, как похлебка из всех круп и овощей. Многие крестьяне, перепуганные известиями, побросали свои пашни, целый день торчали в портиках и народных собраниях, ничего не понимающие, голодные, злые, и всех без разбора ругали — и мидян, и эвпатридов, и демократов. Беженцы с островов, которые разорял персидский флот, проклинали судьбу и с воплями просили пристанища и хлеба.

— Кому-то суждено все это расхлебать? — сокрушался Мнесилох.

С утра до ночи в народном собрании ораторы надевали венки и, опершись на традиционные посохи, произносили зажигательные речи. Когда страсти раскалялись, спорщики рвали венки друг у друга. Лепестки мирта и жасмина, кружась в воздухе, опускались на распаленные головы. Однако никаких мер ораторы не предлагали — каждый боялся брать на себя ответственность.

Послали депутацию к дельфийскому оракулу. Пифия изрекла:

— Спасение города за деревянными стенами богини... Этот ответ никого не надоумил, никого не успокоил, а породил еще больше кривотолков. Уже давно все деревянные стены города

были заменены кирпичными, а все храмы богини воздвигались из камня. Ареопаг вызвал к себе на гору всех жрецов и прорицателей, мнение каждого протоколировалось на восковых табличках, чтобы потом никто не слукавил, не отказался от своих слов. Однако объяснения словам Пифии никто не дал. Появились самозванные пророки.

— Злополучные! — кричали они. — Чего вы ждете? Бросайте все и бегите на край земли! Нет преграды огню и ярости, нет защиты от плена и позора!

Пророков схватили, изобличили как шпионов и казнили. Тут разнесся слух, что в Ахарнах родился двуглавый теленок, на каждой голове по одному глазу. Маловеры и любопытные кинулись смотреть, и его предприимчивый хозяин нажил немалые деньги. Жрецы отняли теленка и принесли в жертву Аиду, богу подземных сил.

И это не погасило народных страстей. Благоразумные закапывали сокровища в землю, богатые увозили семьи в Пелопоннес или за море, на далекие острова.

А те, кому нечего было закапывать и у кого не было денег на корабль, собирались на рынках и взывали:

— О Фемистокл! Что ты молчишь, Фемистокл?

Одна весть всех поразила: спартанцы потребовали, чтобы главнокомандующий союзным флотом был спартанец.

— Несправедливо! — возмущались афиняне. — Сухопутной армией командует уже спартанец Леонид, ну пусть его! А флотом афинянин должен командовать ведь афинских кораблей большинство! Пусть Фемистокл флотом командует!

Но Фемистокл сам предложил кандидатуру спартанца Эврибиада и настоял на его избрании. Все были озадачены — как же это? Фемистокл отказывается от высшей власти?

Спесивый Эврибиад въехал в Афины, как завоеватель, на белом коне. Афиняне не свистели вслед, не улюлюкали, но встретили его многозначительным молчанием. Сам Фемистокл пригласил Эврибиада выступить в народном собрании.

— Эвакуируйтесь в Спарту, — предложил новый главнокомандующий. — Если Леонид в теснине Фермопил не сможет остановить царя, Афины обречены. Отступим на перешеек и возле Коринфа будем оборонять Пелопоннес!

На сей раз (исключительный случай!) и демократы и аристократы были заодно:

— Оставить дома на сожжение и разграбление? — кричали крестьяне и ремесленники. — Подумай, спартанец, что ты говоришь!

— Вы, спартанцы, только и ждете, когда наши поместья будут

разорены, вторили им эвпатриды. — В них вся сила Афин, в наших имениях!

— Не пойдем к спартанцам, не будем жить из милости при кухне! надрывался Мнесилох, размахивая костылем. — Лучше быть рабом у персов, чем приживалкой у своего брата эллина!

Выступил Аристид, прозванный «Справедливым», и предложил не отступать, а обороняться до последних сил. Взрыв всеобщего восторга был ему ответом.

Безбровое, чистенькое лицо Аристида казалось небесно-мудрым, его тихие, логичные речи — необычайно убедительными. На нем была простая одежда, с аккуратно подштопанными заплатами на видных местах. Посмотрев на эти заплаты, любой гражданин мог сказать про Аристида: да, он знатен, но скромен; он богат, но бережлив.

Аристид предложил: собрать все наличные деньги, все сокровища храмов и общин, нанять, вооружить и обучить войско, не уступающее по численности персидскому. Всем умереть, и тогда уже пусть царь берет пустой город!

Фемистокл не просил слова, даже не надевал венка, вырвался на трибуну, отодвинул благообразного Аристида.

— Афиняне, братья! Куда он толкает вас? Его устами говорят педиэи, землевладельцы, — вот они, в первых рядах, толстобрюхие! Вашей кровью они надеются отстоять свои имения!

Аристократы заорали: «Долой! Долой!» — замахали посохами. Полетели камни и черепки. В задних рядах матросы горланили:

— Пусть говорит, пусть говорит!

— Деревянные стены богини — это флот! — убеждал Фемистокл. — Сохраним флот — сохраним жизнь и свободу. Сохраним жизнь и свободу — из пепла поднимем родной край, еще краше прежнего. Умереть нетрудно, надо жить. Жить, чтобы победить!

Но его никто не слушал. Толпа единым вздохом повторяла:

— Сражаться так сражаться! Умереть так умереть! Таковы мы, дети Паллады!

Я с другими мальчишками, конечно, восседал на высокой ограде соседнего храма. В самых острых местах спора мы оглашали скалы оглушительным свистом.

Внизу под оградой остановился Фемистокл. Ксантипп подавал ему платок, чтобы он вытер обильный пот. Мой кумир — огненный Фемистокл, и мой враг жестокий Ксантипп... Как могла связать их непонятная дружба?

— Аристиду удалось околдовать граждан, — сквозь зубы процедил Фемистокл. — О, демагог!

— Ты заметил? — отвечал Ксантипп. — Все деревенские богатей сегодня были. А обычно их в собрание и кренделем не заманишь.

— Для достижения народного блага все средства хороши, — твердо сказал Фемистокл. — Дадим последний бой! И, если не удастся повернуть волю народа, придется Аристида...

— Убрать? — подсказал Ксантипп.

— Удалить, — ответил вождь.

ОСТРАКИЗМ

Ночью на Сунийском мысе моряки зажгли огромный костер. Увидев огонь, корабельщики на ближайшем острове тоже зажигали костры на высотах. С острова на остров неслась эта огненная весть, и везде афинские мореходы знали — Фемистокл их зовет.

День и ночь ехали на скрипучих возах виноградари и пчеловоды из горных долин, брели рыбаки из бедных поселков, шли в обнимку корабельные плотники из Фалерна.

Никогда еще на Пниксе не собиралось такое множество граждан. В этот день каждый мог воочию убедиться, как многолюдны и разнообразны великие Афины!

Долгое время какой-то оратор распространялся о необходимости средств, чтобы нанять врачей для войска. Его нетерпеливо выслушали и выделили деньги. Сегодня даже медлительные крестьяне не жевали, как обычно, сыр и лепешки. Толпа напряженно гудела, как улей перед роением.

Затем венок надел дородный эвпатрид Агасий из Ахарн и просил принять решение о том, чтобы всех рабов, частных и общественных, заковать в кандалы и заключить в безопасное место. Они-де перестали слушаться и смотрят волками, даже женщины и старики. Поэтому он, Агасий из Ахарн, боится за свою жизнь и имущество и требует принять чрезвычайные меры.

Передние ряды захлопали одобрительно, а из задних рядов послышался насмешливый голос Мнесилоха:

— Несли курицу в суп, а она кричал: не побейте яйца! Как же ты умирать будешь с Аристидом, если ты смерти боишься?

Раздался шум, свистки. Кого-то стукнули в пылу спора, кого-то сопротивляющегося потащили вон.

Но вот на каменный куб трибуны вышел Фемистокл. Его толстое медвежье лицо было бледным от бессонной ночи, хотя он не зубрит ночами своих речей, не бубнит их, блуждая по улицам, не читает потом по записке. Он говорит смело, кулаком рубит воздух, тут же находит самые нужные слова и самые зажигательные выражения. А его мощный голос разве удавалось перекричать хотя бы одному оратору?

Фемистокл начал без обычного обращения к милостивым олимпийцам.

— В страшные дни, — сказал он, — в городе должен быть один хозяин, одна голова у государства. «Нехорошо многовластье, единый да будет властитель!» — еще старик Гомер советовал это... Горшечники из Керамика, друзья свободы! Я призываю

вспомнить ваш древний обычай!

Никто не мог понять, куда он клонит, все молчали. Из-за спины ему подали глиняный горшок. Отставив посох, Фемистокл разломил горшок о колено и показал народу черепки.

— На этих черепках пусть народ запишет имя гражданина, которого он считает сегодня опасным для отечества. Тот, чье имя соберет больше всего черепков, пусть удалится в изгнание. Все! Выбирайте, Фемистокл или Аристид!

— Уходи, чернобородый! — завопили сторонники Аристида.

Гнилая груша полетела Фемистоклу в лицо, но он отстранился, и груша размазалась об алтарь богов.

Народ кричал:

— Остракизм, остракизм! Эй, горшечники, тащите ваши черепки! Народ-владыка сам решит!

Пока готовили черепки, пока проверяли по спискам имеющих право голоса, Аристид попросил слова.

— Нет! — блеснул глазами Фемистокл. — Мое законное время не истекло, я буду говорить. Эй, судьи, переверните песочные часы! — И он принялся обличать Аристида: — Взгляните на его заплатки на плаще! Это должно обозначать бедность, простоту. Он уж так беден, так беден, этот справедливый Аристид, что даже дочерям просит приданое за казенный счет... А у кого, спрашивается, самые плодородные виноградники, самые тучные быки, как не у Аристида? А куда, скажи мне, Аристид, делись персидские сокровища, взятые при Марафоне? Они были спрятаны в яме. Яма оказалась пустой, а ты ведь был начальник охраны сокровищ! Где же они?

Мощный голос Фемистокла перекрывал все возражения. А когда хотел говорить в свое оправдание Аристид, демократы крутили трещотки, стучали колотушками, оглушительно визжали. Мы, мальчишки на ограде, свистели не в четыре, а в четыреста сорок четыре пальца!

А голос Фемистокла крепчал, как ветер перед бурей.

— Крестьяне, вспомните тиранов Гиппея и Гиппарха! Они хотели отнять ваши клочки земли! Что? Вам не по вкусу тирания? Аристид и эвпатриды наймут по чужим городам воинов на ваши денежки якобы для защиты от персов да вас же и скрутят по рукам, по ногам!

И Фемистокл, протянул руку к Аристиду, произносил стихи:

О, человек! Домогаяся власти великой,
Ты государство погубишь, катится в бездну оно!

Все умолкли. Это уже было обвинение в покушении на захват власти. Из толпы высунулся злобный перекупщик зерна Лисия и крикнул Фемистоклу:

— Ты сам, ты сам метишь в тираны, ублюдок чужеземки!

Раздался взрыв народного гнева. Я с удовольствием увидел, что по лысой яйцевидной голове Лисий замолотила чья-то палка.

— Неправда, неправда! — кричали вокруг. — Фемистокл отказался от верховного командования!

А Фемистокл с улыбкой развел руками, как бы говоря: «Ведь я теперь просто частное лицо!»

Раздали черепки. Фемистокл и Аристид отошли вглубь, чтобы не влиять на результаты голосования. Мне хорошо был слышен их тихий разговор:

— О Фемистокл, Фемистокл, ведь мы вместе сражались при Марафоне, при Эгине... Мы были друзьями, зачем же ты меня так?

— Не будет мне другом тот, кто встал поперек пути народа.

— О Зевс, хранитель истины! Аристид, которого народ зовет Справедливым, — и вдруг поперек пути народа!

— А как же ты, — ответил Фемистокл, — ты, который претендует на роль мудреца, как же ты не понял, что дело тут не в личности Фемистокла или Аристида? Тут выбор таков: либо войско, набранное из чужаков, которое может оказаться пострашнее любого врага, либо флот — кровное детище афинян, который даст им и свободу, и победу, и добычу! Народ умнее, чем ты думаешь. Он сам на этих черепках выберет себе дорогу.

— Почему же ты думаешь, что именно та дорога правильна, по которой ты ведешь народ?

— Потому что это дорога не только для богатых, но и для бедняков, для неимущих.

«И для рабов, и для рабов!» — хотелось мне крикнуть с моей верхотуры, но я не крикнул, а Фемистокл не добавил: «Для рабов!»

— И ты, Фемистокл, так уверен, что ты прав?

— Да, и готов, если придется, доказать правоту своей смертью.

— В таком случае, — усмехнулся Аристид, — мне мою правоту остается доказать моим изгнанием.

— Это будет лучше всего, — жестоко ответил Фемистокл.

Между тем голосование шло вовсю. Советовались, спорили, кричали, поминали обиды, даже вцеплялись друг другу в бороды.

Важные пританы — городские судьи — обходили граждан с мешками и собирали черепки. Многие царапали имена на черепках, закрываясь полой плаща, чтобы соседи не подсмотрели;

другие срывали эти плащи, чтобы их разоблачить. Шум стоял невообразимый.

Кто-то дернул меня за полу хитона. Внизу стоял жилистый старик с мешком за плечами, в дорожной шляпе. Наверное, крестьянин, пришедший на голосование откуда-нибудь из далекой Декелей.

— Сынок, — просил он, — я неграмотный. Нацарапай мне, пожалуйста, на этом черепке...

— Но я ведь тоже неграмотный и не могу помочь! Тогда старик подошел с просьбой к ближайшему — им оказался Аристид.

— Чье имя ты хочешь, чтобы я написал, добрый человек? — спросил тот.

— Аристида.

Если бы у Аристида были брови, они бы взлетели вверх: еще бы, декелейцы всегда были его опорой!

— А что худого сделал тебе Аристид?

— Мне ничего, я даже с ним не знаком, но уж слишком много о нем кричат: «Справедливый, справедливый!» Тут что-то есть.

Фемистокл улыбнулся. Аристид пожал плечами, нацарапал кинжалом свое имя на черепке, вернул его крестьянину. Тот удалился, бормоча:

— А нам некогда. Нам надо боронить да сеять, хотя как еще боги судят, придется ли и собирать этот урожай? Если не пожгут враги, вытопчут свои...

Через полчаса пританы разложили черепки по кучкам и сосчитали их. В мертвой тишине глашатай объявил, что изгоняется Аристид, сын Лисимаха, из филы Леонтиды.

Аристид сжал тонкие губы и, медленно завернувшись в плащ, поднял ладони к небу:

— О родной город, да не допустят боги, чтобы ты когда-нибудь в роковой час вынужден был вновь призвать Аристида!

— Гляньте на него, гляньте! — из гущи народа донеслась усмешка Мнесилоха. — Руки воздевает, прямо как Клитемнестра в трагедии!

— Народ обойдется без тебя, Аристид, и без твоих эвпатридов! раздавались пламенные реплики Фемистокла. — Спи себе спокойно, никогда тебя не призовут спасать отечество. Народ спасет себя сам!

Аристид медленно спускался по лестнице, опираясь на плечи знатных юношей. За ними потянулись все аристократы — провожать в изгнание любимого вождя.

Вслед им мальчишки швыряли огрызки, ветки, даже камни, а я достал моченую сливу, которую мне удалось стянуть утром из

бочки с квашеной капустой. Эту сливу я запустил вслед Аристиду, и так ловко, что она шлепнулась прямо ему в затылок и разлетелась брызгами. Аристид не обернулся, только плечи его вздрогнули.

Чья-то жесткая рука стащила меня с забора.

— Что ты делаешь, скверный мальчишка? — Это был Фемистокл; угольные глаза его пылали.

— Долой благородных, долой ползучих черепах! Да здравствуют морские орлы! — крикнул я в лицо своему идолу те лозунги, которые сегодня провозглашал народ.

Улыбка раздвинула бороду Фемистокла.

— Ах ты, маленький демократ! Запомни, однако, надо быть снисходительным к побежденному противнику. Кто знает? Может быть, завтра нас с тобой ожидает его участь!

Я с таким восторгом смотрел, закинув голову, в его мужественное лицо, что он засмеялся и спросил:

— Как зовут тебя, мальчик?

— Алкамен, господин.

— Чей ты сын?

— Сын рабыни, господин.

Лицо вождя сразу сделалось скучным и озабоченным, он отодвинул меня и стал спускаться по лестнице к своим приспешникам.

Сын рабыни! А он, наверное, думал, что я свободный!

БОРЬБА ПЕРЕНОСИТСЯ В ТЕАТР

Фемистокл крепко взялся за руль: повелел жрецам строить корабли за счет богов, малоимущим объединяться в корабельные товарищества. Уточнил списки богатейших граждан, и многим пришлось скрепя сердце выставить всадников, обуть, одеть их, вооружить за свой счет.

— Эй, чернобородый! — кричали Фемистоклу. — На своих корабельщиков небось налог не накладываешь. Всё мы, землепашцы, отдуваемся.

— У корабельщиков много забот на корабле, — отвечал стратег. — А вы отдавайте многое, если не хотите потерять все.

Некоторые открыто жалели об Аристиде. Вспоминали, что Аристид любил сравнивать себя с титаном Прометеем, который принес людям огонь. Аристиду нравилось изображать из себя страдальца за общее дело.

Пронеслись слухи, что Эсхил, трагический поэт, сочинил трилогию о Прометее и собирается ставить ее во время праздников Великих Дионисий. Эсхил был эвпатрид, богач и большой друг Аристида.

Когда, опираясь на посох, он шествовал по афинской мостовой, прохожие расступались и смотрели ему вслед. Можно было подумать, что это воскресший герой из «Илиады» и «Одиссеи» — величавая поступь, гордая голова, длинная борода, седая, несмотря на то что ему было всего только сорок пять лет. И глаза, отрешенные от всего будничного, как будто там, над головами людей, он видит что-то недоступное для смертных.

В народном собрании выступил старичок драматург Фриних.

— Граждане демократы! Знатные собираются дать вам бой в театре. Эсхил в новой трагедии хочет прославить изгнанного Аристида. Богатые люди: Лисия — перекупщик зерна, и Агасий из Ахарн — взяли на свой счет постановку, заказали костюмы, не поскупились, только бы досадить Фемистоклу. Демократы, разве мы уступим плешивым лягушкам, ублюдкам богов?

— Нет! — рычал народ и потрясал посохами.

— Славнейшие граждане! — продолжал Фриних, вытаскивая из-за пазухи помятый свиток папируса. — Есть у меня новая трагедия — «Ясон»: В ней рассказывается, как герои под руководством богини Паллады строят корабль...

— Поставим трагедию Фриниха! — отвечали ему мореходы. — Долой сухопутных крыс-педиэев!

Все взоры обратились к Фемистоклу. Вождь молчал, не высказывая своего одобрения.

— Время ли теперь, — наконец промолвил он, — когда враг у ворот, время ли предаваться трагедиям? Мы рабочие люди, мы воины и матросы. Оставим театр жрецам, а праздные удовольствия — бездельникам-аристократам.

Но народ не согласился с вождем.

— Мы хорошо трудимся, мы готовы и умереть во славу Афин! Но пусть будет представление на праздниках! Прославим в театре нашу богиню и нашу демократию!

— Но, граждане, казна пуста, каждая драхма на счету. Где возьмем средства на постановку?

Тогда на трибуну взобрался Ксантипп. Заикаясь от волнения, покраснев, он предложил поставить спектакль на свой счет.

Спектакль всегда ставили богатые хореги за свой счет, по очереди. До Ксантиппа было еще далеко, но ему не терпелось отличиться. Народ хлопал в ладоши, кричал, хвалил Ксантиппа.

— Но, слушай, ты же недавно построил на свой счет «Беллерофонт», самый мощный корабль в Афинах?

— У меня найдутся еще деньги.

— Но ведь твои корабли с товаром перехвачены врагом, и ты говорил на рынке, что ты разорен.

— Возьму деньги у ростовщиков, заложу самого себя, но поставлю трагедию не хуже, чем эвпатриды!

Итак, решено, ставится «Ясон», трилогия Фриниха; хорегом утвержден Ксантипп.

На репетициях Фриних и Ксантипп, оба щупленькие, оба суетливые, указывали, укоряли, ссорились, сами пробовали играть и за актера и за хор. Дело спорилось.

Однако и эвпатриды не теряли времени даром. Ксантипп побывал у них на репетиции и потом говорил Фриниху, горестно крутя свою плешивую бородку:

— Посмотри, отец, у Эсхила — два актера, как здорово у них идет действие! А ты сочиняешь по старинке: у тебя выходит один актер и битый час препирается с хором. Народ у нас разбежится со скуки.

Но Фриних пускался в воспоминания о том, как после разрушения персами восставшего Милета он поставил трагедию, где изобразил страдания милетцев. Зрители плакали от сочувствия, и Ареопаг, опасаясь за их душевное спокойствие, запретил дальнейшие представления.

— И все это было сочинено именно так, как повелось исстари, а не как у этого нечестивца Эсхила, да поразят его Мойры! Так повелось уже с древней поры — один актер и один хор. Ксантипп все-таки сомневался. И знаете, на этот раз я был с ним согласен: достаточно было послушать, как живо в трегедии Эсхила

разговаривают два актера.

— И, ничего! — махал сморщенной ручкой Фриних. — Публике что надо? Сделаем котурны повыше и костюмы попестрее. Наймем в хор лучших певцов вот народ и будет доволен.

Он задирал полу хламиды, озабоченно сморкался в нее и бежал далее хлопатать.

Я, Алкамен, конечно, сторонник демократов. Фемистокла я обожествляю. Но честно должен сказать: стихи Эсхила мне нравятся больше. Ночью смотрю в мигающее звездами небо и шепчу, засыпая, его строки, услышанные во время репетиций:

Землерожденный Аргус, враг лукавый,
Сверкает тысячью глаз, которым нет покоя...

ПРАЗДНИКИ

Проспал, проспал! Я не увижу ни парада, ни шествий, ни гимнастических состязаний! Да вдобавок Килик накажет за то, что я не занял установленного мне места в храме!

Издалека слышатся трубы оркестров и волнующее пение девичьего хора это знатные афинянки в позолоченных корзинках несут дары Дионису.

Вскочить, умыться, натянуть новенький, хрустящий хитон (скаредный Килик пожаловал ради праздника) — все это дело одного мгновения.

И вот я прыгаю, как по лестнице, по длинным теням кипарисов. Солнце только взошло, еще прохватывает холодок, спешат ярко одетые люди праздник! Я обогнал наших храмовых девочек-рабынь. В длинных платьях, с венками на головах они спешат к священной процессии.

Уж очень взрослые они, эти девочки, — красятся, мажутся, задирают носы. Обычно мы с ними не разговариваем, но сейчас, увидев меня, они закричали:

— Ой, Алкамен, какой ты хорошенький! Какой на тебе расшитый хитон!

Подумаешь, лягушачьи нежности! Я побежал по тропинке, чтобы сократить путь к храму. Что мне эти певицы, когда живет на свете Мика «пышнокудрявая», как говорят поэты, единственная в мире!

На священной дороге земля гудит от топота копыт. Сверкая медью, сквозь пыль проходит конница. Народ приветствует ее дружным кличем, называет имена знатнейших:

— Видишь, на вороном коне? Это Кимон, сын Мильтиада. У него, знаете, сестра красавица, беленькая такая.

— А вот Лисимах, сын Аристида. Бедняга небось тоскует по изгнанному отцу.

Прошли, размеренно ступая, молчаливые гоплиты со скучными крестьянскими лицами, за ними — юноши-эфебы, вооруженные дротиками.

А вот звуки труб и бряцание бубнов — идут моряки, покорители свирепых морей, открыватели диких земель. Везут на колесах священный корабль; шествуют командиры экипажей, среди них и Ксантипп, командир «Беллерофонта». Идут невозмутимые сквозь радостный вопль толпы; идут суровые, плотно сомкнув рты, словно окаменев от сознания торжества.

Я в толпе мальчишек побежал за войском. Военная музыка будоражила сердце, хотелось сорваться с места и лететь, лететь

не зная куда.

Так начался праздник. Три дня на площадях не пустовали столы с угощением для всех; три дня продолжались танцы и гулянья, дымили жертвенники всех храмов. Соревновались народные хоры, состязались актеры в декламации, а поэты — в чтении стихов. Но вот настал день и для театральных представлений. Архонт бросил жребий. Первому довелось выступать Эсхилу, за ним — Фриниху.

— После Эсхила, — мрачно предрекал Ксантипп, — будут ли слушать нашего старичка?

Люди пришли в театр до рассвета. Приехали крестьяне из далеких деревень; перед театром торчал целый лес оглобель. Раскупоривали амфоры с вином, мешали золотистое фалернское и густое хиосское с водой из фонтана и пили, прославляя богов.

Жрецы Диониса принесли установленные обычаем жертвы, и представление началось.

Предание рассказывает, что жили два брата-титана. Одного звали Эпиметёй, другого — Прометей. Бог Зевс сотворил животных и людей и поручил братьям оделить их разнообразными качествами.

«Это сделаю я, — предложил Эпиметёй. — А ты, братец, отдохни, потом проверишь, хорошо ли я сделал».

Одним животным дал он быстроту, но не дал силы. Другим, наоборот, дал силу, но не дал быстроты. Маленьким он дал крылья или прыткие ноги, большим — рога или клыки. Всех он одарил, всех оделил, всякому дал защиту по мере его способностей.

А людям ничего не осталось: голые, беспомощные, блуждали они во тьме:

...Словно тени снов
Туманных, смутных, долгую и темную
Влачили жизнь...
Врывшись в землю, в плесени
Ютились. Ни примет зимы остуженной
Не знали, ни весны, цветами пахнущей,
Ни лета плодоносного...

Даже разума не дал им опрометчивый титан!

Взглянул на землю другой брат, Прометей, и сердце его затрепетало от жалости к людям. Он похитил из очага богов огонь, спрятал его в сердцевине тростника и принес на землю. Он

научил людей читать, дал им быков и показал, как пахать и сеять хлеб. Он дал им знание и ремесло, научил, как не бояться сил природы.

И люди стали счастливее богов. И боги, разгневавшись на Прометея, решили казнить его ужасной смертью.

Обо всем этом рассказывалось в первой трагедии Эсхила — «Похищение огня». Люди переговаривались, жевали завтраки, опоздавшие рассаживались по местам. Юные эвпатриды в нижних креслах вели светские разговоры и громко смеялись. На них шикали, ругались.

Перерыв. А с первых же слов второй трагедии — «Скованный Прометей» все боялись пропустить хотя бы одно слово на сцене.

«СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ»

Власть и Сила — подручные Зевса, владыки богов, влекут через всю орхестру Прометея. Гефест, бог-кузнец, жалеет его. Но что поделаешь? Воля Зевса необорима, и Гефест, плача, пробивает гвоздем грудь бессмертного титана, а вот уже и руки Прометея прикованы к черной скале Кавказа...

Обречен я! Страдать мне века и века,
Мириады веков!

восклицает в горести страдалец.

Шум крыльев за сценой — Океанйды, его двоюродные сестры, прилетают к нему, увещевают покориться воле Зевса. Наконец Гермес, посланец богов, приносит ему предложение Зевса о перемирии. Но гордый Прометей непреклонен:

Напрасно! Медовых речей болтовня
Не растопит мне сердце! Угроз похвальба
Не сломает!

Мнесилох где-то в верхних рядах кашлянул на весь театр и провозгласил в тишине:

— Это у них, кажется, намек на Аристида?

Молодые аристократы внизу демонстративно засмеялись.

— Чума на ваши головы! — шипели зрители. — Молчите, ради муз-усладительниц!

Тем временем актер на сцене декламировал звонкие фразы, вложенные поэтом в уста титану:

Всегда жестоки властелины новые!

Ну, это уж прямой намек на Фемистокла! Демократы зароптали; их противники стали торжествующе подталкивать друг друга локтями. А Прометей все пророчествует:

...Видел я, как два тирана пали в пыль,
Увижу, как и третий, ныне правящий,
Падет паденьем скорым и постыднейшим!

Аристократы подняли ликование. Вновь послышался гулкий протест Мнесилоха:

— Чего осклабился, стриженая жаба? Ты ему, Фемистоклу, недостоин и ноги омывать, а туда же с критикой, крысиный ты хвост!

В верхних рядах началось яростное движение. Потом стражники потащили Мнесилоха из театра. Так как у него не было своей крыши и гардероба, он все подаренные одежды напяливал на себя и был похож на капусту. Когда стражники его тащили, а он цеплялся, каждая из его одежд оставалась на каком-нибудь ряду.

— Ой, миленькие, ой, курносенькие! Ой, скифчики! — причитал Мнесилох. — Ой, родные, желтая хламида зацепилась, а она ведь подарок от Аристида. На ней даже две заплатки есть! Ой, родимые, теперь безрукавку козлиную потерял. Ее мне сделала Агасиева жена.

Все оборачивались и улыбались. Поднялись жрецы, чтобы прекратить это нарушение священнодействия трагедии. Мнесилох угомонился, и все успокоились.

И все погрузились в поэзию стихов Эсхила. Каждый думал о том, что это он, как Прометей, жестокой жизнью прикован к скале нужды и нет ему пощады... Зачем же жить? Не лучше ль сразу броситься Вниз головой со скал, чтобы, ударившись О землю, обрести освобождение От бед? Однажды умереть не лучше ли, Чем день за днем изнемогать и мучиться?

Мне, Алкамену, тоже пронзили сердце эти слова. Поэт словно подслушал мои молитвы на твердом ложе после жестокой порки, угадал меня, маленького, беззащитного раба!

Слушали затаив дыхание пастухи, виноградари, землепашцы, матросы с огрубевшими лицами, с ладонями, роговыми от мозолей. В страдающем Прометее они увидели не Аристида, изгнанного аристократа в нарочито заплатанном плаще, а страдальца и бунтаря, непримиримого, как и они сами.

Люди привстали со скамей, холодели от ужаса, слыша кощунственные речи титана:

Скажу открыто — ненавижу всех богов!

А по круглой орхестре метался хор, изображавший девушек-океанид в длиннополых цветастых одеяниях. Тенора, спрятав бороды под женскими масками, голосисто пели:

Рокочет и ропщет моря прибой набегающий
И падает в бездну, и стонет. Гудят в ответ
Земли потаенные щели,
Аида бездна,
Струи прозрачных потоков плачут...

Моряки на верхних скамьях, наверное, вспомнили волну прозрачно-зеленого, самого нежного цвета, которая вдруг непомерно растет, свирепеет и, как разъяренный тигр, бросается на корабль, грозя пробить ему бока.

Ярость стихий, гнев богов! Ничто не заставит смириться гордый разум титана!

Сердца трепетали от напряжения; где-то за мирными холмами слышится скрип тысяч телег, ржут дикие кони, трубят боевые слоны и вопят верблюды... Орды надвигаются, чтобы захватить, разорить, уничтожить этот светлый город.

Сдаться? Покориться воле богов? Нет, трижды три раза нет! И все повторяют вслед за Прометеем непреклонные слова поэта:

Пусть в мысли не взбредет тебе...
Что буду плакать пред врагом чудовищным
И руки, словно женщина, заламывать,
Чтоб только цепи снял он. Не бывать тому!

Тогда Зевс обрек Прометея на новые мучения. По знаку хорега рыжий скиф Медведь за сценой стал крутить рукоятку. Заскрипели блоки, пришла в движение машина, и Прометей с воплем под пение охваченного ужасом хора провалился в Тартар...

Никто не хлопал, никто не кричал, как обычно.

Медленно расходились на перерыв афиняне, подавленные

или возбужденные. Каждый думал о своем, но всех угнетала одна мысль — надвигающийся гнев богов.

ЗАГОВОРЩИКИ

В третьей части трилогии — «Освобожденный Прометей» — титан все-таки смирялся с судьбой и подчинялся Зевсу. Афиняне были так потрясены предыдущим, что уж и не слушали, молча жевали свои пирожки, отмахивались от мошкары, которая вечером налетает с окрестных болот.

— Алкамен, исчадие дракона, куда ты провалился?

Живот не мешал Килику носиться за сценой с ловкостью белки. К вечеру, уморившись, он, как здесь, набрасывался и на актеров, и на хористов, и на рабов.

— Алкамен, где позолоченный орел, которого должен держать Зевс во время апофеоза — заключительной сцены?

Кладовка под сценой была заставлена декорациями и завалена реквизитом: деревянными мечами, рогожными мантиями, жестяными коронами. Это единственное спокойное место во всем театре; иногда актеры, а то и хореги забирались сюда, чтобы перевести дух и отдохнуть от сутолоки.

В кладовке возле тряпья и ветхих декораций стоял Эсхил, беседуя с Агасием, который сосал сочную грушу и вздыхал от наслаждения. Я замер... Я всегда стремился что-нибудь услышать от Эсхила, хоть словечко: ведь этот чародей редко дарил людей возвышенным словом — говорил о самых обыденных вещах: о погоде, о ценах, о найме кораблей. Вот и сейчас он сокрушался:

— Я собрал в своих элевсинских поместьях большой урожай. Куда везти, кому продавать? Никто запасов не делает, не надеется и до осени дожить...

Агасий доедал грушу и согласно мигал круглыми глазами.

— Я насыпал отборным зерном триста больших амфор, — продолжал Эсхил, — отгрузил их Лисий, перекупщику зерна, он обещал выручить за них большие деньги. Пока ни зерна, ни денег.

Дионис-покровитель! Когда же он перестанет говорить о зерне и скажет что-нибудь гениальное? Неужели именно он, этот расчетливый владелец угодий, сочиняет такие строки, от которых трепещут сердца?

— А вот как раз и Лисия! Уморился, а? Нелегка должность хорега? Это тебе не муку молоть.

Тощий Лисия был взволнован, спотыкался, тер затылок.

— Да, да... Все ли собрались, друзья? Эсхил, Агасий — вы здесь? Ого, сколько народу! А где же Килик?

Я и не заметил, что кладовка наполнилась людьми, и всё эвпатриды из самых знатных семей. Вот и Килик спускается по лестнице, устало дыша. Увидел меня, но не ругается, не дерется;

подозвал, положил руку мне на голову и запустил пальцы между кудряшек.

— А кто сторожит наверху? — беспокоился Лисия. — Подозрительного ничего нет? Можно начинать? Я решил срочно собрать вас здесь, потому что есть чрезвычайные новости и требуется немедленное решение... Но сначала, как подобает потомкам богов и благочестивым гражданам, помолимся бессмертным.

— Да не тяни ты, Лисия, рассказывай! К тебе, говорят, гонец прибежал, запыленный, оборванный. Не от Аристида ли? Где он, Аристид, в какой стране?

— Нет, нет, друзья, гонец не от Аристида, но Аристид знает обо всем, и я говорю как бы от его имени...

Лисия сделал передышку. Сверху доносился гам и разноголосица последней трагедии.

— Эй, там, у двери! Посторонних нет?

Лисия понизил голос:

— Гонец был от персидского царя.

Стало тихо так, что слышалась возня крыс в старых декорациях. Словно весь многотысячный театр там, наверху, прислушался к словам перекупщика зерна.

Лисия продолжал шепотом:

— Этот гонец только на один день пути опередил вестника царя Леонида. Завтра все узнают о роковых событиях: фиванцы перешли на сторону мидян, Леонид с войском осажден в теснине Фермопил, персидский флот готовится высадить стотысячный десант.

— Ох, времечко! — со слезой в голосе произнес толстый Агасий.

— Рано плакать! — оборвал его Лисия. — Царь прислал гонца, предлагает помиловать афинян... Не всех, конечно, только самую золотую головку. А мы должны ему помочь: Фемистокла изловить или убить (в театре это легче всего сделать), ворота царю открыть по примеру фиванцев. Тогда уцелеем, а демократов, всех этих матросиков и горшечников, всех горлопанов и бездельников любимец богов Ксеркс выведет на невольничьи рынки...

— А храмы и деревни предаст огню... — задумчиво произнес Эсхил. — Девушек обесчестит, детей осиротит...

— Ну и что же? — запальчиво ответил Лисия. — А свои афинские гоплиты разве не опустошают сады, разве не объедают виноград, как лисицы?

— То свои...

— Да уж лучше ярмо любого царя, чем разгул демократии,

будь она проклята богами, будь она проглочена Аидом!

— Истинно, истинно... — залепетал Агасий. — Того и жди, либо демократы сокровища отберут, либо собственные рабы в постели удушат!

Тягостное молчание всех сковало.

И тогда стал говорить Эсхил. Его слова падали в тишину, словно капли в бронзовый таз.

— Я не демократ, — сказал поэт. — И да пожрут гарпии Фемистокла и всех его нищих! Но к персидскому царю я в услужение не пойду: ведь родина благословенная дороже всего — и жизни и богатства!

Эвпатриды заволновались.

— Слушайте, слушайте! — призывал к спокойствию Килик и так сдавил мою голову, точно это была ручка кресла.

— И не поверю я, что твоими устали вещает Аристид, — продолжал Эсхил. — Он мой друг, и я его знаю. Недаром его прозвали Справедливым, и родины он не предаст. Зато я теперь знаю, куда девались мои триста амфор зерна. Ты персидской армии готовишь запасы, изменник, царский шпион!

Лисия замахал длинными руками, яйцевидная лысина его побагровела. Он закричал, указывая на Эсхила:

— Вы слышите его, благородные? Сегодня он соблазнительными стихами призывал к свержению богов, завтра призовет толпу делить ваше имущество, а рабов — разбивать кандалы! И как это мы, слепцы, дуралеи, выпустили на сцену его стряпню?

Эсхил молча смотрел на него в упор младенческими глазами. Потом повернулся и стал величаво подниматься по лестнице. Мне показалось, что Лисия вот-вот ударит его снизу кинжалом. О, я бы успел выскочить и повиснуть на руке негодяя!

Но Эсхил поднимался, ступеньки скрипели под его грузными шагами, а перекупщик зерна беспомощно спрашивал у всех:

— А он не предаст, а он не пройдет к Фемистоклу?

Дверь за Эсхилом захлопнулась.

Тогда Килик удрученно вздохнул и сказал:

— Успокойся, этот бородатый ребенок такого не придумает. Он проклянет тебя в стихах или постарается надуть при очередной продаже зерна. А к Фемистоклу он не пойдет.

— А мальчишка? — трясся Лисия. — Этот театральный прислужник, он не выдаст?

— Он глуп, как поросенок, ему бы только проказить, — усмехнулся Килик. — Да к тому же он знает, что рука Килика тверда, а палка не знает жалости. Не так ли, сын лягушки?

Килик потрепал меня за волосы и оттолкнул. О жрец, если бы ты знал, как ты ошибаешься!

— Ну, а ты, Килик, ты сам хочешь нам помочь в свержении тирана Фемистокла? Чей ты — наш или не наш?

— Я — богов, — уклончиво ответил жрец. — Персы ли будут править, демократы ли, эвпатриды — боги при всех властях будут требовать жертв. А где жертвы, там и жрецы.

— Понятно, — зловеще заключил Лисия. — Ну что же, идемте, благородные!

Никто не последовал за ним. Все молча слушали, как причитал и трясся Агасий из Ахарн:

— Аполлон, провидец, вразуми! Как быть, в какую сторону

податься? Где спастись?

А наверху рабы гремели листами железа, изображая грозу, хор ревел басами, подражая буре. Раздался восторженный шум толпы — трагедия окончилась. Бежать бы, предупредить бы Фемистокла, но как удрать из-под бдительного ока Килика?

Вот и Эсхил стоит у парапета, глубоко задумавшись. Какие молнии проносятся сейчас в этой царственной голове?

К поэту приближается Фемистокл, вот поравнялись... Сейчас Эсхил остановит его, все расскажет о заговоре! Но нет, они обменялись приветствиями; глаза Эсхила потухли, веки безразлично опустились. Значит, только мне суждено предупредить о заговорщиках, но как, но когда?

А на сцене в заключение представляли коротенькую драму сатиров, также сочиненную Эсхилом: Мнесилох в бородатой маске, похожей на лицо Фемистокла, и хор в масках, подобных лицам вождей демократии, изображали бога Диониса и его спутниц — вакханок. Они танцевали с нелепыми ужимками, а народ добродушно смеялся. Кажется, больше всех хохотал сам настоящий Фемистокл: он даже утирал слезы и показывал пальцем на удалого Мнесилоха.

Затем по ходу действия демократы-вакханки рассердились на своего Диониса-Фемистокла и разорвали его в клочья. Одна утащила ногу, другая оторвала голову, третья унесла туловище. Драма окончилась. Мнесилох вновь выскочил из-за кулис, чтобы зрители могли убедиться, что он цел и невредим.

Я приготовился улизнуть, но меня остановил Ксантипп:

— Эй, как тебя? Театральный мальчик. Прибыл знаменитый хор Феогнида, завтра ведь моя очередь быть хорегом. Ты не забыл? Размести хористов, дай им поесть, пусть отдохнут как следует, наутро им предстоит работенка!

Ксантиппу — вот кому рассказать! Сердце подсказывало: «Иди скажи, пока не поздно!» А ноги не шли к этому истязателю, этому кентавру!

Как назло, Килик затеял пир в честь успеха трилогии Эсхила. Вот я и метался — от Ксантиппа к пирующим, от хористов к Килику. Наконец, на мое счастье, Килик пригласил к себе и хористов; они радостно возлегли за пиршественный стол, и началось у них разливанное море! Я обежал глазами пирующих: Эсхил здесь, здесь и дородный Агасий, а Лисий нет, нет и других эвпатридов...

Сердце мое заледенело: наверное, точат ножи, крадутся во тьме ночной; стража, подкупленная, спит...

Килик отпустил меня, когда уже запели петухи.

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

— Медведь, ну что ты будишь меня, ведь солнце еще не взошло!

Наконец спросонок я сообразил, в чем дело, и сердце мое зашлось от ужаса: вчера я только склонил голову отдохнуть, а вот поди-ка — проспал. Проспал, негодяй, всю ночь! И снилось мне, как аристократы с рожами, страшными, будто маски сатиров, бегут в объятия к людоедам-мидянам. Что же теперь делать: ведь я не предупредил Фемистокла?!

А Медведь теребит меня за плечо:

— Иди, иди, там тебя хорег ищет!

Хорег Ксантипп был вне себя от ярости: к нему подступали давние страшные мои знакомые: лидиец, как мохом, обросший черной бородой, и с ним бритоголовый египтянин.

— Ну что вы ко мне пристали? — отбивался от них Ксантипп. — Нету у меня при себе денег. Сказал, отдам, так, значит, отдам! — И обращался ко мне: — Эй ты, проказник, отвечай, где хористы?

Я представления не имел, где хористы. А чужеземцы осаждали Ксантиппа:

— Срок платежа истек, верни нам деньги! Нам некогда ждать, мы отплываем. Кругом война — мы боимся. Отдай деньги, а то мы позовем пританов и отберем театральные костюмы и музыкальные инструменты... Ведь ты хорег, ведь это на твой счет изготовлено? А мы имеем право все забрать!

— О Посейдон, укротитель зла! А как же представление?

— Нам какое дело — представление! Нам денежки давай! Потом с тебя и не получишь.

— Театральный мальчик, где же хор, о боги милостивые!

Воздух прохладного утра освежил мою память: как же я забыл? Ведь хористов пригласил вчера Килик. Там они и пируют сейчас или спят под столами.

Мое сообщение не обрадовало Ксантиппа. Он с тоской смотрел на своих кредиторов, как вдруг его осенило:

— Послушай, ведь ты, кажется, был у меня дома? Проводи этих чужестранцев... Вот на этой табличке я начертал письмо жене. Она вам, господа ростовщики, выплатит все сполна. Я при себе не Держу кошелька. А может быть, вы все-таки подождете до завтра?

— Зачем ждать? Завтра этот театральный хлам никому не будет нужен... Мы возьмем деньги сегодня, и еще до начала представления!

— Ну, в таком случае, торопитесь! А ты, мальчик, веди их бережно, тихо, не беги бегом, веди по хорошей дороге, чтобы господа ножки не поранили. Даже если придется сделать крюк — делай крюк.

Заупрямиться? Не пойти? Не забыл еще твои я розги, хорег Ксантипп! Но я увижу Мику, увижу Мику!

По небу разливалась нежная заря, а мы спустились в переулки, в лиловую мглу. Ростовщики запыхались, поспевая за мной, да они и сами спешили.

— Если он нас обманул, — говорил лидиец, размахивая волосатыми руками, — надо успеть вернуться до начала представления, а то жрецы не разрешат нам прервать священнодействие, остановить трагедию. И не получим мы наших денег. Денежек наших!..

— Да, — кратко ответил египтянин. — Так советовал Килик.

Килик? Ах, так это каверза Килика? Недаром он вчера грозился: сорву, мол, демократам спектакль, так или иначе — сорву!

И я повел ростовщиков самой дальней дорогой. Солнце уже поднялось, когда мы пришли в Колон. Чужеземцы уморились, вспотели, обмахивались шляпами. На наш стук из дома Ксантиппа не вышел привратник, не залаяла собака. Тишина. Только из соседнего двора слышится мерное поскрипывание: наверное, слепой осел вращает колесо колодца.

— Озирис свидетель, — произнес египтянин, — этот дом чума посетила. Смотри, даже драпировка на входной двери содрана!

Ростовщики посовещались и вошли в дом, а я за ними. Когда глаза привыкли к сумраку, мы увидели, что покои пустынны, вместо мебели — темные пятна у стен, где она стояла годами. Повсюду мусор, клочки рогожи, доски от ящиков. И полное безлюдье.

— Я так и знал! — воскликнул лидиец. — Этот клятвопреступник нас обманул!

Египтянин присел на корточки и стал рыться в куче мусора, как будто в ней можно было найти оброненный бриллиант.

Я оставил их и побрел через пустынную столовую и мрачный кабинет, где с потолка свисали высохшие гирлянды кипарисовой хвои. Где же люди? Куда делось семейство Ксантиппа?

Я вышел в сад. Там все так же, как тогда, — ореховые деревья, кусты в виде шаров и кубов, журчанье струй в каскаде. На колоннах дворика углем начертаны буквы вкривь и вкось, валяются глиняные солдатики, кукла с оторванной ногой... Как будто Перикл и Мика только что убежали отсюда. Вот на этой

дорожке, посыпанной розовым песком, я когда-то лежал под розгами и грыз песок, чтобы не закричать. А здесь стояла Мика, закрыв ладонями пылающее лицо. Я снова ощутил стыд того дня... Нет! Недолго мне терпеть! Я докажу, я докажу!..

Вот памятный бассейн. Струится зеленоватая вода, змеятся водоросли, но рыб не видно. Где же зубастые чудища? Мне даже хочется увидеть их, как старых знакомых, но и их нет.

А эта дверь завешена драпировкой. Здесь, кажется, живут, слышится настороженное рычание собаки. Я отогнул край занавески — там на ковре лежал Кефей, добродушная собака, а на нем, как на подушке, мирно спал длинноголовый мальчик Перикл. Вот они где! Чуя меня, собака навострила уши и рычала, но осторожно, чтобы на разбудить мальчика.

— Господин, господин, что тебе?

Это старая нянька; она придерживает драпировку узловатой рукой.

— У меня, бабушка, поручение от благородного Ксантиппа к его жене.

— К жене? О боги! О горемычная госпожа!

Нянька заохала, запричитала.

Из-за ее спины появилась Мика. Она как-то выросла, похудела, стала похожа на остроносого мальчика. А я, как увидел ее, снова стал вспоминать слова, которые поэты заставляют звучать на сценах театров: «Истинно, вечным богиням она красотою подобна!»

— Что тебе, мальчик?

— Письмо к госпоже. Должен передать...

— Давай сюда.

Мика раскрыла восковые таблички, на которых Ксантипп запечатлел свое послание. Лицо девочки стало горестным; слеза капнула на письмо — одна, другая. Девочка швырнула таблички, и они разлетелись вдребезги.

— Деньги! Что же он просит деньги? Денег нет! Я как зачарованный смотрел в ее золотые глаза, вспухшие от слез. Она нахмурилась, и я отвернулся.

— Как — нет денег? — в один голос сказали оба ростовщика. Оказывается, они тоже пришли сюда и стояли за моей спиной. — Подайте нам деньги!

— Нет, ничего нет! — Мика развела руками, показывая на ободранные стены.

— А там, в комнате, что-то есть? — заявил лидиец. — Стул есть? Возьмем стул. Кровать? Возьмем кровать!

— Возьмем ее! — крикнул египтянин. — Закон разрешает взять дочь, если отец долга не платит.

И он схватил ее плечо цепкой рукой. Я ударил наглеца в бок. Этот удар скорее удивил его, чем испугал:

— Мать Изида! Ты дерешься, мальчишка?

— Убирайтесь вон! — крикнул я. Голос сорвался и дал осечку, но я готов был принять любое сражение.

Лидиец захохотал, тряхнул черными волосами и принялся засучивать рукава.

— Кефей, Кефей! — закричала Мика.

Звонкое эхо разнеслось по пустым помещениям.

Кефей появился. Опустив хвост, как толстую палку, он даже и не рычал, а только скалил клыки, но ростовщики опасливо попятились.

Пес оскалился было и на меня, но Мика обхватила мои плечи и сказала собаке:

— Это друг, друг, понимаешь? Друг!

Кефей медленно наступал на чужеземцев, и они бежали. Лидиец бормотал заклинания, а египтянин расточал угрозы.

Меня никто не приглашал остаться, и я вышел вслед за ними. Нянька семенила за мной и скороговоркой шептала:

— Хозяйка плоха, уж так плоха! И врача не на что позвать... Мика, бедная девочка, прямо сбилась с ног. А наш Ксантипп, да простят ему боги, все продал, все заложил. Мебель вывез, рабов продал, только меня, старуху, никто не купил: говорят, околевать пора... А ты увидишь его в театре, скажи, пусть идет скорее. Ведь в доме ни куска... И хозяйка уж больно плоха. А Мика прямо с ног сбилась, бедная девочка. Уж ты скажи ему — прямо с ног сбилась!

ПАЛКИ В КОЛЕСА

— Теперь скорее в театр! — Лидиец взмахнул волосатой рукой. — Веди нас, мальчик, покороче да побыстрее — получишь два обола. Вот она, монетка. Купишь сластей...

— Поспеть бы к началу, — сказал египтянин.

Как бы не так! Сорвать спектакль демократов? Как бы не так.

Я вел их по самым кривым переулочкам, по самым запутанным трущобам. На площади Эвфория в огромную морскую

раковину собиралась подземная вода. Здесь кончался Керамик — глинобитный квартал гончаров — и начинались портики каменного города. Я сделал вид, что мне плохо от жары, долго пил, мочил край хитона, прикладывал ко лбу.

— Скверный мальчик, что ты медлишь? — закричал лидиец, изнемогая от злости. — Мы опоздаем!

Но я продолжал охать, пил воду маленькими глотками. Я умел быть хитрым — рабская жизнь всему научит. Ростовщики накинулись на меня с бранью, египтянин замахнулся палкой.

Я отскочил в сторону, спрятался за кривой ствол шелковицы и показал им фигу. Улицы были пустынны — все ушли в театр, и некому было помочь им наказать строптивого раба.

— Укажи нам хотя бы дорогу покороче, — взмолились чужеземцы. — Мы сами пойдем!

Вершина Акрополя, у подножия которого стоит наш театр, отсюда не видна — ее скрывают двухэтажные бани и купы каштанов. Я указал им на другую гору, ту самую, на которой заседает священный Ареопаг.

— Если господин — мешок обманов, то слуга — сосуд лжи! — воскликнул лидиец, но все-таки побежал за египтянином туда, куда я указал.

Я ликовал, еще бы! Проданные мальчики отомщены, спектакль демократии спасен, Мика в безопасности, даже Ксантиппу помог вывернуться, хотя ему-то помогать совсем не стоило!

Но Фемистокл, Фемистокл!.. Не свершилось ли уже непоправимое, потому что я не успел сообщить о заговоре! Да нет, пожалуй... Если бы такое произошло, город бы кипел! Во всяком случае, скорее в театр, спектакль, наверное, давно уже начался.

Что такое? Театр полон, народ топает ногами, оглушительно требует начинать. Вот и голова Фемикстокла чернеет над сединами архонтов и стратегов. Что же случилось?

В помещении за сценой знаменитый актер Полидор, развалившись в кресле, тянул из куба мед с яичными желтками — лучшее средство для голоса. Время от времени он брал ноту:

— И-до-до! Эу-э! И-до-до!

Завидев меня, он помахал опустевшим кубком:

— О Алкамен, театральный мальчик! Где ты пропадаешь? Я уж думал, что тебя продали на Делос за шалости. Ты не подскажешь мне сегодня, если я опять забуду текст? О музы, мне бы твою память!

— Непременно, господин, я подскажу. Но где же все? Почему не начинают?

— И, наверное, совсем не начнут! — Полидор махнул изящной рукой и налил себе еще меда. — Кто-то ночью напоил хористов, и они языками не владеют. Уж их и водой обливали. Хотели пригласить хор, который вчера пел у Эсхила, да ведь это пустое дело: им все заново зубрить надо. Ксантипп рвет остатки бороды.

Распахнулся полог — вошел Ксантипп (легок на помине!), за ним Фриних, Мнесилох, другие демократы.

— Вот он! — вскричал Ксантипп, указывая на меня пальцем.

У меня сердце упало — в чем я еще провинился?

— Мальчик! — подбежал драматург Фриних. — Говорят, ты все слова наизусть знаешь... И поешь хорошо... Будь корифеем, поведи хор!

Все меня обступили, уговаривали наперебой, даже не давая сказать «нет» или «да». Полидор встал во весь свой могучий рост и заглушил всех бронзовым басом:

— Мальчик знает все и умеет все! Одевайте его! Клянусь Аполлоном и девятью музами, он споет вам лучше, чем настоящий корифей!

Сполоснул горло новым глотком меда и запел вновь:

— И-до-до! Эи-а-а! И-до-до-о!

Старческие руки Мнесилоха дрожали, когда он меня одевал и подбадривал:

— Не бойся, Алкамен, главное — смелее. Спой так, как, бывало, пел мне по ночам, и все помрут от зависти. Правда, рост у тебя небольшой, ну не беда: в первой трагедии ты изображаешь смертную женщину, а ко второй, где ты играешь богиню, я разыщу тебе самые высокие котурны.

Помогал меня одевать и Ксантипп. Передо мной маячило его вспотевшее бородавчатое лицо. Как оно безобразно и как много в нем общего с лицом Мики, хотя лицо девочки прекрасно! Оно свежее и чистенькое, как яичко. Что же он ни слова не спросил меня: что дома, где ростовщики, как я от них отделался? Вспомнились жалобы няньки: «Мика, бедная девочка, с ног сбилась совсем...»

А Ксантипп неожиданно улыбнулся, и лицо его стало добрым и даже симпатичным. Он встал с колен и хлопнул меня по спине:

— Готов! Теперь оденемся мы — и можно начинать.

Сердце замерло, как перед прыжком в бездну. Мне что-то шептали, но я уже ничего не понимал. В руку всунули мне прялку...

НЕОЖИДАННЫЙ ДЕБЮТ

Миф повествует: юноша Ясон вышел однажды к бурной реке. Там стояла старушка и молила переправить ее на другой берег. Юноша перенес старушку и потерял одну сандалию в быстрой воде. Старушка оказалась переодетой богиней. Она просто хотела испытать, великодушен ли Ясон, способен ли на подвиги ради людей.

Ясон отправился дальше и достиг царского дворца. Увидев Ясона, царь пришел в ужас: однажды оракул предсказал ему, что его убьет тот, кто придет к нему обутый в одну сандалию. И царь приказал Ясону: построй корабль, плыви на край света, в Колхиду. Добудь золотое руно, которое стережет огнедышащий дракон.

И Ясон начал строить корабль, и назвал его «Арго», и кликнул клич героям, чтобы плыть вместе. И народ их назвал «аргонавты» — плывущие на «Арго».

Так начинается трагедия. Полидор, изображающий Ясона, ходит с топориком в руке и декламирует звучные стихи.

Я играю мать Ясона, хор — мои прислужницы. Мы идем, чтобы умолить, упросить Ясона не покидать стариков родителей, не слушаться приказов злого царя. Первый стих мне надо произнести, вступая на орхестру, а я молчу язык словно присох! Я знаю, знаю все слова, знаю назубок, но все вылетело из головы! Она пуста и звенит, как медная кастрюля!

Пронзительно звучат многоствольные флейты-сиринги, арфы уже второй раз рокочут мелодию запева, а я молчу. Холодный пот течет по спине. Сейчас я запутаюсь в этой длиннющей мантии, слетит моя нелепая маска... Что же делать? Я все-таки двигаюсь, как заведенный, за мной вереницей следуют, покачиваясь, хористы — ждут моего запева. Театр молчит, насторожась. Кое-где слышны ехидные смешки.

Вдруг Полидор понял и шагнул мне навстречу, отставив топорик.

Мой сын, мой сын, болит и стонет сердце... —

услышал я его хриплый шепот.

Мой сын, мой сын... —

бодро запел я, и сразу улетучились страхи и прошло оцепенение, —

...болит и стонет сердце!
Покидаешь нас, слабых,
На чужбину бег корабля направив!..

Спасибо Полидору! Всегда я ему подсказывал, теперь он выручил меня.

А голос мой крепнет и набирает силу. Движения становятся плавными. Я веду за собой хор. «Прислужницы» описывают вокруг меня круги, плавно взмахивая рукавами. Теперь я пою и танцую беззаботно, как танцевал, бывало, на этой сцене по ночам, развлекая Мнесилоха.

Он и сам идет за мной в этом импровизированном хоре, в котором пришлось участвовать и Фриниху, и Ксан-типпу, и другим демократам. Публика под масками не различает, кто исполнители. Только знатоки, наверное, недоумевают, почему вместо прославленных теноров из-под масок звучат какие-то доморощенные голоса.

Горе нам, горе нам... —

поет хор.

Едва обросши пухом,
Едва оперившись, птенцы гнезда покидают.
В далекое море, в страны севера,
Где нет родной речи
И шелеста деревьев родимых,
А ветер,
Холодный упругий ветер,
Жестокий ветер чужбины...

Слушаю их, и мне невольно становится горько, и слезы мешают петь, как будто я действительно мать и мое кровное дитя улетает на чужбину. В памяти всплыла яркая картина: белые руки мамы рвут цветы и плетут венки. Непрошеные слезы покатились у меня под маской, а голос дрогнул, когда я запел, собрав все силы:

Горе мне душу гложет,
Тоска вселилась, как змея-ехидна...
О пожалуй, пожалей:
Ты ведь последняя искра в черной ночи моей жизни!

И я чувствую, что народ замер и ловит каждое мое слово, каждое движение.

Но вот мы уходим, уступаем орхестру другой половине хора, представляющей аргонавтов — Геракла, Тезея, Орфея, Кастора, Полидевка.

За сцену мы просто ворвались. Теперь-то я понимаю, почему актеры всегда так нервничают и ругают нас, прислужников, за медлительность: каждое мгновение им дорого.

Поспешно сбросили маски. Уф! Как свеж и прохладен воздух снаружи! Но мы торопимся, надеваем другие костюмы, меняем маски к следующему выходу.

Теперь я — богиня Афина. Во главе других божеств Паллада идет ободрить Ясона, помочь ему. Я стараюсь представить себе статую богини, которая стоит на Акрополе с огромным медным щитом, с совой на плече, со змеей. Я пытаюсь изобразить величавую поступь богини, стараюсь, чтобы мой голос приобрел царственную звучность. И, наверное, мне это удается, потому что народ в театре встречает оживлением каждое мое движение, каждую фразу, а когда я заканчиваю, театр рукоплещет и кажется, что это в огромной чаше, высеченной в горе, переливается море ладоней.

Но вот конец первой трагедии. Ясон уплывает, с ним аргонавты, а мы, изображающие женщин, оплакиваем их отъезд, словно внезапную смерть.

Прощай, прощай! Возьми мое сердце
К себе на корабль.
Теперь на этом корабле — все, что я имею,
И все, на что надеюсь.

Теперь корабль — моя судьба.
И море — моя судьба!

Если бы вы слышали, как нам хлопали, как кричали! Старый театр Диониса еще никогда не видел такой бури на своих скамьях.

Если бы Мика могла быть тут и слышать это ликование! Но женщин у нас в театр не пускают.

УСПЕХ, УСПЕХ!

— Чтобы доказать, что ты плаваешь, надо броситься в реку! — вскричал Мнесилох, обхватив меня единственной рукой.

Был перерыв. Мнесилох обтирал мне лицо влажной губкой, давал пить, расчесывал мои волосы.

— Не у каждого яйца два желтка! — гордился он перед Полидором. — И говорят, что хорошую яблоню узнают по цветкам. Молодец, Алкамен, ветер попутный, поднимай паруса! Молодец, сынок!

И это «сынок», сказанное им впервые, было мне дороже всех похвал сегодняшнего дня.

— Ты, Полидор, — продолжал Мнесилох, — вовремя подсказал ему, помог. Вот что называется товарищеская помощь!

Полидор засмеялся и процитировал:

Зависть питает гончар к гончару, к плотнику — плотник,
К нищему — нищий. Певцу же певец соревнует усердно.

А Мнесилох отгонял желающих посмотреть на меня:

— Уходите, уходите, человек уморился. Чего вы столпились? Ну ты, носатый, что уставился? Разве ты верблюд, который увидел в луже, что у него горб?

Люди дивились:

— Как? Это мальчик? А мы думали, что это новый певец из Коринфа!

— Ну и мальчик! Какая игра, какой голос! Льется, как трель Филомелы, звенит, как бронза щита!

Мне даже стало совестно от этого хора похвал. А вот и Фемистокл:

— Здравствуй, юный корифей! Кто ты? Я тебя не знаю.

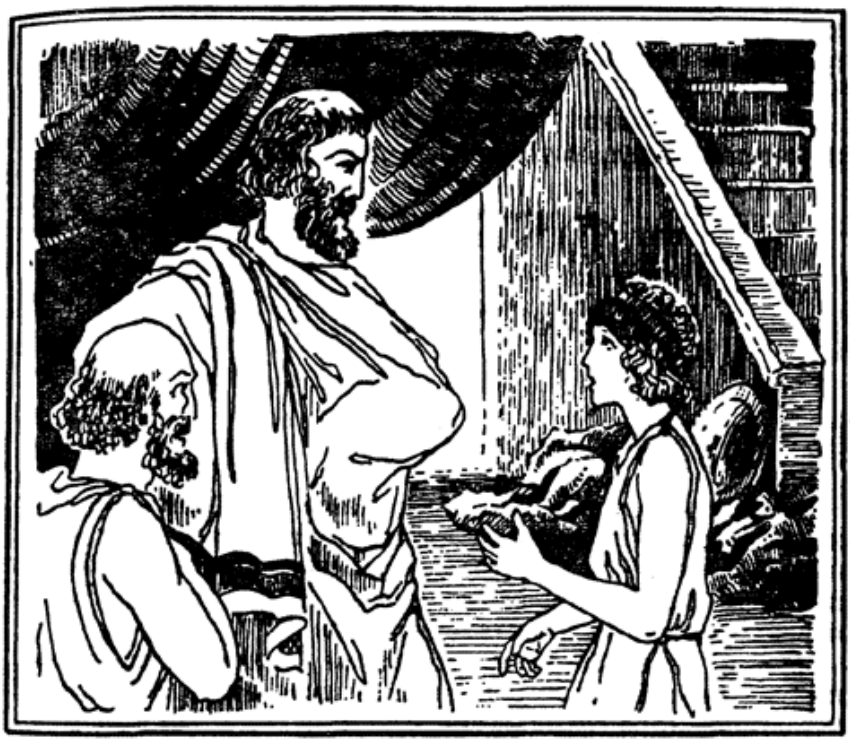
Выразительные брови вождя нахмурились и снова поднялись в ясной улыбке:

— А, помню, помню! Непримиримый враг Аристида, Алкамен — сын рабыни? Я ведь не ошибся?

Первый подарок преподнес Мнесилох, сказав мне «сынок», второй Фемистокл, вспомнив мое имя. Как бы рассказать ему о заговоре? Сколько народа, какая толчея!

Мимо прошел Килик, поджав губы. Он словно бы и не замечал, что я играю, да как играю!

Я стал готовиться к следующей трагедии. Мнесилох помогал мне завязывать тугие ремешки на высоких котурнах. Когда я распрямил затекшую спину, передо мной стоял Эсхил; поглаживал бороду, смотрел на меня безмятежным взором.



— Это действительно ты пел корифея?

— Я...

— Ты давно играешь женские роли?

— Сегодня первый раз.

Эсхил недоверчиво отстранился. Мнесилох принялся расписывать мои достоинства, рассказывать, как я стремлюсь повторять, воспроизводить все увиденное и услы-шаное в театре.

— Талант — не заслуга человека, — строго заметил Эсхил. — Талант милость богов. Хвали богов, юноша!

Эсхил взял мою голову между ладоней и наклонился, чтобы поцеловать меня в лоб.

— В тебе уживается сразу много людей, — сказал он. — Сегодня я увидел в тебе и коварную Клитемнестру, и нежную Электру, и неистовую Эриннию. Поэт ведь должен создавать,

имея перед глазами образы живых людей. А ты населил мою голову целым миром образов. Спасибо тебе, мальчик! — И он меня поцеловал. А потом спросил: — Как тебя зовут, чей ты сын?

— Алкамен я, сын рабыни...

Эсхил прищурил глаза, посмотрел на меня отчужденно:

— М-да... — И обратился к подошедшему Ксантиппу: — Что, говорят, отправляются корабли в Лакедемон? Любезный Ксантипп, устрой мне двести корзин маковых зерен, тысячу тюков льна! Могу предложить по драхме за перевоз корзины, по полторы — за перевоз тюка...

О Эсхил, Эсхил! Твоя отчужденность стала мне сегодня каплей дегтя, которая испортила горшок меда!

КАТАСТРОФА

Вторая трагедия повествовала об аргонавтах в Колхиде. Настоящие хористы наконец пришли в себя и заняли место в хоре, а корифея Феогнида Ксантипп прогнал, обещав вывесить его для просушки на рее «Беллерофонта». Корифеем ведено было оставаться мне.

Итак, пока Ясон и аргонавты рыскали по сцене, изображавшей поляну в девственном лесу, я с другой половиной хора ожидал сигнала к выходу. На плечи мы взяли кувшины: ведь мы изображали царевну с подругами и прислужницами.

Вдруг ветер отдул пологи входа, захлопали двери, послышались стремительные шаги. Прошел Фемистокл, надевая позолоченный шлем стратега. Он на ходу говорил еле поспешавшему зал ним Килику:

— Скажи верховному жрецу... Я знаю, что это грех, но я принесу искупительные жертвы.

Следом за ним эфебы под руки вели спотыкающегося человека в пыльной хламиде, с окровавленными шпорами на сапогах. Вот он, вестник царя Леонида, о котором вчера предупреждал Лисия.

Фемистокл властным жестом велел хористам замолчать. Такой тишины не запомнят ласточки в небе над театром Диониса. За целый век никто не осмеливался прервать священнодействие трагедии.

Эфебы вывели вестника на орхестру. Верхние ряды встали, чтобы лучше разглядеть и услышать. Но вестник разлепил изнеможенные веки и хрипло выкрикнул всего одну фразу:

— Братья, мидяне идут! Мидяне близко!

И упал к ногам эфебов.

Словно небо громом раскололось над театром — такой поднялся шум и гвалт. Некоторые хотели бежать, другие их удерживали, третьи старались перелезть через каменную ограду, четвертые в ужасе заламывали руки. Старейшины и пританы тщетно пытались навести порядок.

Однако этот хаос продолжался недолго. Фемистокл, который стоял молча, скрестив руки, неожиданно оперся о плечо стоявшего рядом эфеба и вскочил на каменный парапет:

— Афиняне вы или стадо коз? — Его громовый голос перекрыл всю панику.

«Ему бы в театре исполнять роль Громовержца!» — подумал я.

— Начальники фил и фратрий, объявите о местах сбора

отрядов! командовал Фемистокл. — Моряки — в гавань, к своим экипажам. Бегство из города воспрещается. Страже у ворот дан приказ убивать всякого, кто попытается выйти без пропуска. Начальники, командиры, после захода солнца военный совет в моем доме!

Шум прекратился. Все повернулись к вождю, слушали его приказания. Сразу запели сигнальные рожки, послышалась команда. Гоплиты, всадники, лучники, эфебы, бывшие в театре, стали выходить на площадь строиться. Остальные сгрудились кучками вокруг своих предводителей. Из разных концов доносились крики глашатаев.

— Фила Энеиды, собираемся у круглого здания суда!.. Копьеносцы филы Антиохиды, сбор на закате солнца у оружейных мастерских! Э-эй! Кто из филы Антиохиды, слышите?

Мы наскоро разоблачились. Все выветрилось из головы — и неожиданный триумф, и похвалы великих людей, и упоение собственным успехом. Тяжкий камень тревоги залег на сердце. Ухо чутко слышало каждый шепот, а в теле ощущался зуд — бежать, пока не поздно, сообщить о заговоре. А потом туда, где юноши примеряют шлемы и латы, где всадники седлают коней, где медь звенит о железо.

Но, как нарочно, появился Килик и стал требовать, чтобы мы собрали все корзины и всю утварь и уложили их в корзины. Время ли заботиться о тряпках!

И только когда тьма распростерла крылья над городом, мне удалось улизнуть. Я опрометью кинулся по улицам, на которые как будто ночь не приходила: везде горели факелы, сновали люди, обвешанные оружием; озабоченные рабы катили тачки с поклажей, гнали навьюченных мулов.

Возле дома стратегов, где жил Фамистокл, стояла толпа — зеваки из тех, что хлебом не корми, только дай первым узнать что-нибудь и потом разнести по городу. Много было и крестьян, приехавших на праздники из отдаленных деревень. Они распрягли лошадей и ослов, тут же лежали на мостовой, жевали хлеб, чистили рыбу, ругались и плакали. Сумрачные лица земледельцев выражали терпеливое ожидание: что скажут стратеги? Ехать ли поскорее по домам или, может быть, уже и ехать не стоит, может быть, там уже неприятель и надо позаботиться, куда бежать дальше?

Я протиснулся сквозь толпу, вошел в круг, ярко освещенный колеблющимся светом множества факелов.

— Ты куда, парень? — Часовой отодвинул меня древком копья. — Проходи, проходи, здесь не базар...

Как быть? Кому же сообщить о заговоре? Изменники,

наверное, времени не теряют, стряпают свои делишки, а я...

И вдруг среди рассуждающих о событиях я заметил Мнесилоха. О, я глупец, глупец! Уж Мнесилох-то найдет способ предупредить о заговоре.

ПРАВО УБЕЖИЩА

Выслушав мой рассказ, Мнесилох взял бороду и закусил ее зубами признак волнения.

— Уже вторая ночь идет! Что же ты вчера молчал? Что я мог ему ответить?

— Ну ладно, — сказал Мнесилох. — Стоит ли теперь разбирать, почему у осла уши длинные? Давай искать Фемистокла.

— А что его искать? Вот он, Фемистокл, — в доме стратега, да пойди его возьми!

— Братец, — обратился Мнесилох к часовому, — сослужи службу старику инвалиду. Доложи Фемистоклу или кому-нибудь из стратегов, что есть срочное дело... Часовой оставался нем и бесстрастен.

— У, — проворчал Мнесилох, — если у тебя есть дело ко псу, называй его «братец».

Но и укоры не действовали на часового.

— Терей! — вдруг закричал Мнесилох. — Тереюшка, голубчик! — и зашептал мне обрадованно: — Вон в дверях, видишь? Начальник караула, он из деревни Лакиады. Я у него прожил месяц в прошлом году. Тереюшка, Тере-ей!

К нам подошел щеголеватый десятник с подстриженной бородкой.

— А, старина, здравствуй! Ну что тебе?

— Терей, да вознаградит тебя Афродита, наклони-ка ухо!

Терей благосклонно кивал в ответ на шепот Мнесилоха, потом удалился. Через некоторое время он вновь показался и издали стал делать нам знаки.

— Пойдем, — заторопился Мнесилох. — Он приглашает нас зайти с черного хода.

У черного хода также стояли воины и горел факел, но зевак и просителей не было. На крыльце виднелась грузная фигура Фемистокла. Когда мы поднялись к нему, воины отступили на почтительное расстояние.

— Поздно спохватился, мальчик, — покачал головой Фемистокл, услышав мой рассказ.

— Птички могли упорхнуть, — вторил ему Мнесилох.

— Дом Лисий — в Ламитрах, — размышлял стратег. — Сейчас мы пошлем туда отряд, только едва ли он сидит дожидается...

— А Эсхил, а Килик? — спросил Мнесилох.

— Старик, старик! — укоризненно произнес Фемистокл. —

Хорошо ли ты выслушал рассказ мальчика? Повернулся ли у тебя язык обвинять Эсхила?

— Да, да... — согласился Мнесилох. — Эсхил исполняет завет старого поэта:

Хитрить, как лиса, человеку стыдно,
Сумой переметной быть не следует...

— А Килик? — продолжал раздумывать Фемистокл. — Килик неприкосновенен как жрец. Возьмешь его — Ареопаг все равно велит освободить, а шуму лишнего будет много... Вот что скажите, друзья: а не замечали ли вы чего-нибудь еще подозрительного в жизни Килика?

Неожиданно я вспомнил: Килик дверь навесил! Новую дверь, свежеоструганную, на бронзовых петлях!

Нужно сказать, что афиняне никогда не делают дверей при входах в жилые дома — вешают ковер или драпировку, и только.

— Ага, — кашлянул Фемистокл. — Все ясно. Быстроглазый ты, Алкамен, сын рабыни! Идите в театр и сидите там потихоньку, а мы сделаем остальное.

И он еще раз в знак одобрения потрепал кудряшки моих волос.

— Все тебя хвалят, — говорил Мнесилох, когда мы, спотыкаясь, брели в потемках к театру. — И меня бы хвалили, если бы я голову не прогулял. Ведь я в твои годы учился даже, зубрил «Илиаду», в хоре мальчиков пел гимны «Паллада — в бою нам защита» и «Клич громогласный». Родители ведь мои были люди знатные. Они нанимали мне учителя, твердили ему: «Учи его, пори его!» Я же вместо этого склонялся к другому учению; бывало, кричу поварам: «Вон птичка, весна пришла!» Повара: «Где, где?» А я пирог с вареньем цап — и был таков! — Мнесилох тяжело вздохнул и сильнее застучал палкой по булыжнику. — Вот, сынок... А потом настала другая школа: был я торговцем, был и разбойником морским, был рабом в Персии, потом бежал и воином был... А жизнь прошла. Голова стала белее крыльев лебединых. Теперь что надо старику? Крышу над головой, ячменный отвар, меховую накидку, мягонький плащ. Да чтоб кто-нибудь поясницу мне растирал, охал бы надо мной...

Фантазия моя заработала:

— Ничего, Мнесилох. Я непременно свершу что-нибудь великое, необыкновенное. Стану знатным, возьму тебя к себе, будет у нас дом — полная чаша, богатства будут, рабы...

Мнесилох засмеялся:

— Сам еще из рабов не вышел, а уж о рабах мечтаешь?

Я прикусил язычок. О, старый демократ Мнесилох!

Долго сидели мы в моей каморке. Ночь была непроглядна и беззвучна. Ни лязга металла, ни шороха шагов, ни шепота. Мы оба ужасно беспокоились, разговаривать ни о чем не могли. Наконец Мнесилох не выдержал:

— Пойдем, малыш, посмотрим, что там... Только держись подальше: заметит тебя Килик — снимет кожу.

Возле дома Килика был тот же мрак, далеко брехали собаки, чудились странные тени.

— Ш-ш-ш! — Мнесилох схватил меня за руку.

Послышалось чирканье кремня о железку, полетели искры, и вдруг ярко, с треском загорелся факел, а об него зажглись и другие, как будто взошло пурпурное, мерцающее солнце. Дом был окружен рядами воинов.

— Эй, Килик! — кричал десятник Терей, дубася в новую дверь. — Открой! Послание тебе от стратегов!

Дверь медленно открылась. Там, в двери, Килик поднимал руки, как бы призывая к молчанию и молитве. Медведь и другой раб вынесли из дома священную статую Диониса, увенчанную молитвенными венками. Воины в благоговении преклонили копья. Терей начал пятиться назад.

Увидев Килика, я спрятался за Мнесилоха, а Мнесилох, в свою очередь, попытался укрыться за широкой спиной первого стратега, который, оказывается, стоял в тени.

— Что делает, подлец, что делает! — бормотал, сжав зубы, Фемистокл. — Ах, хитрец!..

И он шагнул из тьмы, чтобы отдать команду, как вдруг из двери дома Килика выпрыгнул длинный Лисия и, подскакивая,

понесся во тьму.

— Улю-лю-лю! — закричали воины и бросились в погоню.

Мы поплелись за ними. Мнесилох страдал от одышки, а я — не мог же я его оставить и мчаться впереди!

Вот наконец и колоннада нашего храма. Воины стоят растерянные, опустив копья, факелы трещат и коптят.

Килик расталкивал воинов, пробираясь к храму. «Виноват!» — кланялся он одному; другому улыбался, прося прощения, что потревожил.

Но, лишь только жрец поднялся на ступеньки храма, он словно бы увеличился в росте. Лицо его стало высокомерным — еще бы, здесь было его царство!

— Всякий, кто укрылся в храме, — провозгласил он, затворяя решетчатые двери, — не может быть убит или схвачен! О великий Дионис, податель вечной жизни, прости этих темных людей, нарушивших твой покой! Они не ведают, что творят.

Ветер раздул пламя факелов, и на мгновение показалось, что за бронзовой решеткой дверей бог Дионис улыбается хитрой улыбкой.

А по небосводу уже разворачивалось шествие утренней зари. Слышалось пенье сигнальных флейт — войска готовились в поход.

«Прощай, пыльный двор! — думал я. — Хорошо было на твоих мусорных кучах играть в боевые корабли. Прощайте, ирисы и гиацинты, которые вырастил кроткий Псой. Прощайте, храм, священная роща, где на укромных дорожках дремлют мраморные гермы. Прощай, театр!»

Я прощался так потому, что хотел сегодня же убежать за войсками.

— Пойдем к тебе ночевать в каморку, — предложил Мнесилох. — Я вообще-то живу в доме главного судьи, но сегодня нет у меня охоты прихлебательствовать.

Вот как! Это мне помеха.

— Да мне и спать уже не хочется... Да и ночь прошла...

Но Мнесилох настоял на своем, и мы пошли; прикорнули на соломенных тюфяках, накрывшись изодранными мантиями театральных цариц.

— Один мальчик... — шептал Мнесилох, — решился бежать. Он думает, сейчас война, никто розыском беглых не занимается, а после войны, думает, вернусь с почетным венком, а победителей не судят...

Он вечно все знает, он вечно все провидит, этот добрый старик! Ну что ему ответить? Сделаю вид, что сплю.

— А мальчик не выполнил свой долг, — вкрадчиво

продолжал Мнесилох. Рассказал бы вовремя — не упустили бы перекупщика зерна! А теперь изменник сидит в храме, и там его не возьмешь. Но вечно бродить у алтаря надоест. Кто же подстережет его, когда он захочет прогуляться или совсем выйти из храма?!

КОГДА РАБОМ БЫТЬ — УДОВОЛЬСТВИЕ

Войско ушло, флот уплыл, опустели Афины. По улицам блуждали бродячие собаки с репьями в хвостах, а стражники развлекались, гоняя их красными палками. Сквозь пыль и скуку доносилось пение разносчиков:

— Купи-ите уксусу, уксусу! А вот угли, угли! Масло!

В храме работа удвоилась и утроилась. Кто молился за воинов, кто гадал о будущем, кто умилостивлял судьбу. Еле успевали принимать дарения и приносить жертвы.

Лисия по-прежнему сидел в храме. Вокруг была расставлена стража стрелки-пельтасты, набиравшиеся из самых бедняков, а потому и самые злые к аристократам. Фемистокл рассчитывал взять беглеца измором, и, когда Медведь, по приказу Килика, понес в храм корзину, пельтасты его остановили.

Но Килик ударил стрелка по руке:

— Это жертвенное мясо! — и показал на белеющего в сумраке Диониса. Богу!

Пельтасты не посмели перечить, а Лисия питался за счет Диониса.

Когда же Фемистокл, Ксантипп и другие ушли с флотом, надзор вообще ослаб и можно было видеть, как Лисия сидит на полу возле порога и играет в кости с пельтастами, которые восседают снаружи. Ни он не переступает заветной черты, ни они не нарушают неприкосновенности храма, а в кости играют!

Зато я начеку, зато уж я стерегу каждый его шаг!

Только рынок остался шумен, как прежде. Те же торговки, те же купцы, те же ряды невольников. Туда ходят потолкаться, послушать новости из всех концов мира.

— В Египте родился новый бог в образе быка!

— В Скифии такие морозы, что младенцы на зиму замерзают, а весной оттаивают, как лягушки!

Простодушные граждане удивлялись — вот чудеса!

— Ну, а какие новости из армии, из флота?

— Царь Леонид крепко держит Фермопилы. Его не обойдут, а в лоб его не возьмешь! Флот собирается у мыса Артемйсий, там будут отражать мидян. Прорыва не допустят. Спите спокойно, афинские граждане!

Кто это там проталкивается сквозь давку у овощных рядов? Да это же Мика! Она одета совсем как взрослая девушка: на ней длинный пеплос, подпоясанный под самую грудь, волосы убраны

под золотую сетку. А в руке корзинка с покупками.

О великий город! Как же ты допустил, что дочь одного из лучших твоих военачальников не имеет возможности послать рабыню, сама ходит по рынку, толкается среди грязи и брани, приценяется, торгуется?

— Мика, здравствуй...

Сердцу тесно в груди, кажется, что оно прорвет плен грудной клетки и вылетит.

— А, это ты, Алкамен! Фу, как я устала, подержи, пожалуйста, корзинку. Какая жарища, какая пыль!

— Хочешь, я помогу тебе донести твои покупки? Ведь тебе идти на другой конец города.

Килик велел мне купить горшочки для благовоний, но помнил ли я сейчас об этом?

И мы пошли. Мика чувствовала себя взрослой, шла, как знатная девушка, мелкими шажками, откинувшись слегка назад, подняв горделивый подбородок.

— Пускай все думают, что ты мой раб и несешь корзину госпожи... Ведь ты все равно раб, ведь правда? Почему бы тебе не быть моим рабом?

Сердце мое закололо от обиды... Что ж поделать? С этим рабством я бы, пожалуй, примирился.

— Впрочем, — продолжала болтать Мика, — я всегда к рабам снисходительна. Тот, кто разбогател только вчера, тот к рабам мелочен и жесток. Мы же от века владеем рабами. Мы происходим от богов. Мама из рода Алкмеонидов. И сама я знатная. Назвали меня не какой-нибудь Симефой или Кесирой, мое полное имя Аристомаха — «сражающаяся за лучшее». Но ты можешь звать просто Мика, как зовет меня брат.

Путь в Колон не легок, особенно по жаре, когда весь город замирает, когда закрываются лавки, мастерские и все прерывают работу. Но, разговаривая с такой девочкой, разве считаешь стадии, разве ждешь конца пути?

— Мама плоха, — жаловалась Мика, — не двигается, не говорит, только глаза такие живые! Нянька с братом, а я одна и одна, не с кем слова молвить. Отец, уезжая, сказал мне: «Ты, — говорит, — взрослая, ты поймешь. Я мог бы взять ссуду у государства, мне бы дали. Но мы горды... Правда, говорит, — дочь, мы горды? Давай потерпим как-нибудь до победы, и будет у нас все — деньги и рабы. А не будет победы, и ничто нам уж не будет нужно». Ты же, Алкамен, смотри не болтай. Я не должна быть откровенна, но ты ведь раб, а рабы всегда знают тайны своих господ.

Кончиком сандалии Мика поддала валявшийся каштан:

«Гони, Алкамен!» но тут же спохватилась, что здесь город, что она дочь военачальника и должна держаться достойно.

— Что же? — продолжала она беспечно. — Разве я одна такая? Эльпиника, невеста живописца Полигнота, тоже на рынок ходит сама. А Мильтиад, ее отец, был ведь властелином Фракийского Херсонеса и оказал отчизне услугу при Марафоне. Сын его, Кимон... — Она замолчала и искоса взглянула на меня. (Что значит этот взгляд украдкой?) — Сын его, Кимон, до сих пор не может расплатиться с долгами отца.

Вот и Колон: знакомые рощи, глухие заборы, запущенные сады.

— Отцу сейчас в десять раз тяжелее, — сказала Мика. — И всем воинам. Ты ведь не любишь моего отца? Я знаю, ты не забыл ему это... А ты ведь сам виноват. Как мог ты, раб, подойти к внучке Алкмеонидов? А он, отец, он хороший, только вспыльчивый ужасно. Ты знаешь, как мама ему говорила? «Ты, — говорит, — Ксантипп, если чем-нибудь увлекаешься, все прочее теряешь из головы. Когда-нибудь и нас выронишь из памяти ради корабля, ради театра или ради войны». Но я люблю его больше всех, даже больше мамы, даже сейчас, когда мама так страшно больна!

«Раз ты его любишь, Мика, значит, и мне придется его полюбить».

— Ну вот мы и пришли. Ты поди посиди там, в парке. Я выйду к тебе.

САДЫ АКАДЕМИИ

Некто Академ купил эту местность, чтобы основать парк, устроить гимнасии, палестры. Кое-что уже делалось — стояли штабеля камней, кучи извести и песка. Война все прервала: лес, безлюдье, царство птиц — вот что называлось Академией в те времена.

Долго я из зарослей терновника следил за дверью дома Ксантиппа. Никто не показывался. Глаза мои слипались, наплывали видения: долговязый Лисия играет с воинами на пороге храма.

— Стой! Ни с места! — позади раздался звонкий голос.

Я вскочил. Это Мика прицеливалась в меня из игрушечного лука и смеялась. Она переоделась: рубашка, завязанная лишь на одном плече, голубая лента, обхватившая волосы.

— Пойдем, тут есть маленькая палестра. Я сказала маме, что иду пострелять из лука, и мама сделала глазами вот так — значит, разрешила.

Палестра — расчищенная площадка в прохладном лесу. Там лежат каменные ядра для толкания, разбитые бронзовые диски.

— А ну-ка, попробуй подними ядро! — скомандовала Мика.

Я не смог поднять.

— Теперь брось этот диск.

Диск вырвался из моей руки и больно ударил меня по колену.

— Э, да ты ничего не умеешь!

Как ей объяснить, что я всю жизнь в храме да в театре, что афиняне не любят, когда их рабы физически развиваются, и даже, говорят, некоторых опасных силачей из числа рабов казнили.

— Вот пойдем на берег моря, — оправдывался я, — там увидишь зато, как я плаваю!

— Ну, здесь до моря далеко, лучше посмотри, как я стреляю из лука.

Мика стреляла и сама бегала за стрелами, вертелась, как козленок; лес оглашался счастливым смехом.

— Духота какая! — заметила она, вытирая лоб. — Смотри, между деревьями марь, как туман. Наверное, гроза будет.

Мне было все равно — гроза, не гроза!

— Давай побежим наперегонки. Если уж ты меня не догонишь, ты, Алкамен, просто девчонка.

И мы пустились! Ноги у меня длинные. Я несся, продираясь сквозь кусты, перескакивая через корневища, а Мика мелькала впереди, лавируя между стволов. И я ее догнал — коснулся плеча рукой.

— Ну, погоди, — взмолилась Мика. — Ну, это случайно, давай еще раз.

И вновь я ее догнал. И опять бежали в сырые ложбины, в глухие чащобы, туда, где, наверное, гнездится сам Пан — владыка леса. И опять я настиг ее и схватил за плечи и чувствовал, как в нас бьются сразу два сердца: мое рывками, а ее часто-часто.

— Ты прямо Аполлон, а я Дафна, — переводя дыхание, прошептала она. — Знаешь миф? Хочешь, я в твоих руках превращусь в дерево? Покроюсь корой, обрасту листьями...

Сели на траву отдохнуть; папоротники склонили над нами пышные опахала.

— Что же птиц не слыхать? — заметила Мика. — Я бы тебе указала по голосам суетливую сойку, важную кукушку, крикливого дрозда, глупого удода. Вот прислушайся: почему это все птицы замолкли?

И правда, птичий хор молчал, только низко над лесом

проносились со свистом стрижи.

— К непогоде, — сказала Мика и вздрогнула: заворчал далекий гром.

— Бежим! — вскричала она. — Здесь должен быть у ручья путевой столб. Оттуда уж я дорогу найду!

Мы побежали, взявшись за руки, огибая заросли, карабкаясь на огромные корневища. В лесу темнело с необыкновенной быстротой, тишина и духота угнетали. Сквозь листву видно было, как по небу стремительно летят могучие тучи.

Гром разодрал небо, и тут же тишина сменилась вихрем: листва, ветки, клочья мха мчались в круговороте; целые кустики, выдранные с корнем, неслись сквозь чащу.

— Ой, ой, ой! — закричала Мика, придерживая подол рубашки. — Я улетаю!

Я схватил ее за пояс, и мы спрятались под древним буком, на котором ветер рвал бороду мха. Ураган нарастал. Сделалось совсем темно, как ночью. Толстенные стволы раскачивались, будто камыш.

— Сколько крыш снесет сегодня! — вырвалось у меня.

И я пожалел, что так сказал. Мика стала кричать, что она не может оставаться, что ей надо домой, потому что она — единственная взрослая в доме.

А ветер давил со страшной силой. Мы еле удерживались, обхватив корявый ствол дерева. Вдруг мы почувствовали, что и эта опора слабеет, что дерево начинает клониться. Едва успели мы отскочить, как старый бук рухнул, из-под земли поднялось корневище, простирая к небу узловатые корни. От падения старых деревьев почва гудела — настоящее землетрясение.

Но ветер стих. В настороженной тишине послышался нараставший шум, словно по лесу катилось что-то громадное, шурша и шарахаясь в уцелевшей листве. Ливень!

Мы сели на корточки, прижавшись друг к другу. Непрестанно гремел гром, и вспышки молний высвечивали лес, подернутый пеленой ливня.

— Ой! — закричала Мика. — Смотри, кентавры!

— Где, где?

— Вот они несутся сквозь дождь, нагнув шеи. Копыта их стучат по поверженным стволам, а руками они отгибают встречные ветви. Ой, как их много! Как развеваются у них длинные гривы! И женщины скачут, и жеребята!..

Но я, как ни всматривался во мрак, не видел никаких лесных чудищ. Меня мучили ледяные потоки, затекающие за шиворот. Я своим телом стремился защитить Мику от ливня, но вскоре и она стала ежиться от холодных струй воды.

Тогда она выбежала из нашего укрытия и принялась скакать под дождем, кружиться, подставляя ладони небесной воде.

— А я ливня не боюсь, не боюсь, не боюсь! — весело кричала Мика. Побегу сейчас за кентаврами, буду с ними жить в лесу, только к маме стану забегать! А тебя мы затащим в лес и напугаем, потому что нет в тебе ничуточки воображения, хоть ты и театральный мальчик!

Впрочем, она быстро продрогла и кинулась ко мне, стараясь сжаться в комочек. Оловянный амулет, оставленный мамой, коснулся ее щеки.

— Что это? — Она потянула за шнурочек.

— Это материнское благословение...

— Вот как? — засмеялась она. — Разве у раба может быть материнское благословение?

Мне показалось, что ледяные струи теперь затекли мне прямо в душу. А она старалась согреться и возбужденно щебетала:

— Тебе не странно, что я скачу, как маленькая? Недолго осталось скакать, скоро я выйду замуж, стану важной хозяйкой,

буду сидеть на женской половине...

— Ты выйдешь замуж?

— Да. А что же тут плохого?

— Но ведь тебе...

— Тринадцать лет, ты хочешь сказать? У знатных все дочери выходят в таком возрасте. Моя мама была на год старше, чем я теперь, когда у нее родился первый ребенок... Правда, ребенок вскоре умер.

Я не выдержал и стал делиться с ней своей мечтою — получить свободу, заслужить венок почета.

— Тогда я женюсь на тебе.

Мика помотала головой, задумчиво грызя травинку.

— Почему же нет?

— У меня уже есть жених.

— Кто?

Снова Мика смутилась, снова бросила на меня искоса лукавый взгляд.

— Кимон, сын Мильтиада. Он бы давно женился на мне, но он очень беден и рассчитывал на мое приданое, а мое приданое тю-тю!

Кимон, брат златокудрой Эльпиники! Этот любимец эвпатридов, с волосами, рассыпанными по плечам! Из тех франтов, которые завиваются и ходят с перстеньками на пальцах, которые руки чистят пшеничным хлебом, а нос сморкают в заячьи хвосты!

— А я?

Ну зачем я сказал: «А я?»

— Ты? Ты — товарищ... Нет, товарищем ты не можешь быть, ты несвободный... Ну, значит, друг. Обязательно нужно назвать каким-то словом, да? Пойдем-ка лучше: в лесу посветлело и дождь кончается.

Мы выбрались на тропинку, где стоял столб с головой Гермеса покровителя дорог.

— Войди в кусты и отвернись, — приказала Мика. — Я выжму рубашку. Холодно, зубы стучат.

По небу все еще неслись грозные тучи, громыхали далекие громы, где-то продолжал буйствовать ураган. Каково теперь там, в проливе, кораблям Фемистокла? Ветер их швыряет друг об друга, как скорлупки орехов. Сколько проклятий слышит небо, сколько молитв, сколько жизней поглощает ненасытное море!

Я и Мика не могли тогда знать, что именно в этот час далеко за горами, за равнинами, в узком ущелье гибнут последние герои Леонида, а у мыса Артемисий та же самая буря топит и рассеивает персидские корабли.

Мы бежали, шлепая по лужам. Мика несла сандалии, а я никогда обуви не имел, всегда обходился природными подошвами. Мика напевала, а мне было не до пения. Счастье — что оно? Может быть, оно вроде обуви: у кого ее нет обходись собственными пятками и не зарься на чужие сандалии!

— Лук, лук! — спохватилась Мика. — Мы потеряли лук! Перикл будет плакать: ведь у него игрушек почти нет.

Я достал ножик, срезал две дудочки в тростнике, поваленном бурей. Прорезал отверстие. Если свистеть в обе дудочки сразу, получается грустная и нежная мелодия, от которой сердце плачет, а душа рвется из клетки печали.

— Как хорошо! — изумилась Мика. — Это мне? Дай-ка я поиграю.

Когда мы расставались, я спросил, набравшись храбрости:

— Скажи, Мика... А он тебя любит?

— Да я его почти и не видела. Как я родилась, меня сразу нарекли его невестой — таков обычай.

И, понимая, что я огорчен, сказала, засматривая мне в глаза:

— Приходи сюда еще... Ведь правда придешь? Мне будет очень скучно без тебя.

Все равно, Мика, ты раскрыла какую-то дверцу у меня в груди и поселила там змею, которая копошится, и гложет, и гложет.

Я возвращался поздно, даже не скрываясь от Килика: пусть бьет, пусть мучит — не все ли мне равно? Дай-ка подойду к храму, посмотрю, на местах ли стража, спит ли осажденный Лисия, завернувшись в храмовое покрывало?

Что такое? Пельтастов нет, храм заперт на висячий замок! Все как вымерло, и не у кого спросить.

Слава олимпийцам! Вот садовник Псой ковыряется впотьмах, поправляет разрушенные бурей клумбы, разглаживает нежные лепестки цветов.

— Псой, что случилось, где перекупщик зерна?

— Старому рабу какое дело до перекупщика зерна?

— Нет, скажи, милый Псой, это очень важно!

— Была буря, стража спряталась, а перекупщик зерна выскочил — и был таков. Пельтасты побежали было за ним в горы, да ночь помешала.

— Как же так сторожили? Сыны страха, лентяи!

— Бедному рабу какое дело? Старый Псой ничего не знает. Вот цветочки гибнут, что делать?

«Цветочки»! Эх, Алкамен, и здесь ты прозевал!

АРЕОПАГ

Флот вернулся. Корабли обгоревшие, продырявленные, с обрубленными мачтами. Множество людей толпились в гавани и скорбно молчали, наблюдая это кладбище кораблей. Слышались вопли вдов — многие корабли совсем не вернулись.

Утешались только тем, что, по слухам, персидский флот потерял вдвое больше, чем афинский.

Горевать было некогда. Матросы полезли на мачты, застучали топорами корабельные плотники, рабы потащили бревна и доски. Стратеги, сойдя с кораблей и не заходя даже домой, чтобы обнять жен и детей, поспешили в дом стратега на военный совет.

— Царь Леонид и триста гоплитов убиты, — передавалось из уст в уста. — Изменник-аристократ показал врагу обходную дорогу через горы...

Новость была так ужасна, что ее сообщали только шепотом.

— Семивратные Фивы вручили царю землю и воду — символ покорности. Вчера персидские разъезды показались у Платей, завтра они могут быть здесь!

К вечеру стало известно, что Ареопаг — совет старейшин — взял свою власть в свои руки. Народное собрание больше не будет заседать, да и заседать-то там некому — все граждане либо в войске, либо во флоте. Ареопаг собрался не на лысой вершине горы Арея, где он собирался испокон веков, а в доме стратега, чтобы вместе с военачальниками обсудить положение. Говорили, что будут совещаться всю ночь напролет, пока не примут решений об обороне.

Когда я ночью вернулся в свою каморку, навстречу мне поднялся воин в черном плаще.

— Ты Алкамен, сын рабыни?

— Я, господин...

— Следуй за мной.

— Но куда же, зачем?

— Не говори ни слова, никого не окликай. Узнаешь.

Мой провожатый был немногословен, как спартанец. Он привел меня к дому стратега и там закрыл полой плаща, чтобы зеваки (среди них ведь могут оказаться и предатели и шпионы!) не увидели, кого именно ведут.

Двенадцать курильниц источали клубы душистого дыма возле статуй богов в зале, где собрался совет старейшин. Прозрачные струи вились между колонн и исчезали в потолочном отверстии, откуда в ярко освещенную залу гляделась ночь.

Суровые старцы — архонты, старейшины, члены Ареопага —

восседали на скамьях, возложив на посохи жилистые бледные руки. Военачальники расположились прямо на шкурах, а Фемистокл, задумчивый, сидел на раскидном кресле. В глубине сновали жрецы; им было приказано непрерывно совершать обряды и молить о спасении Афин.

— О Зевс, защитник справедливости! — восклицал оратор, воин в блестящей всаднической каске. — Аристид был тысячу раз прав!

Ведь это же Кимон, сын Мильтиада! Юноша вырос и произносит свою первую речь в собрании, да как еще произносит! По всем правилам красноречия, округленные фразы сопровождая убедительными жестами.

— Ты, Фемистокл, — продолжал Кимон, — что ты задумал? Ты хочешь вывезти жителей на Саламин и другие острова, город бросить, а войско соединить со спартанской армией и защищаться на перешейке? Теперь мы понимаем, почему ты добровольно уступил командование Эврибиаду — спартанцу. Ты хотел, чтобы мы из уст спартанца услышали смертный приговор нашему городу, ты хотел спрятаться за спину Эврибиада! Это в то время, когда Аристид, невинный Аристид, отправился в изгнание!

Длинные волосы Кимона выбились из-под каски. Он раскраснелся от волнения и от влажности своей речи. Дионис свидетель, он был очень красив! И как ревниво я ни искал в нем недостатки — их не было!

— Сколько талантов серебра ты получил от спартанцев? — продолжал разгорячившийся Кимон. — Сколько тебе заплатили, чтобы отдать Афины врагу, а войску нашему отступить на защиту Спарты?

Это было уже слишком. Это было обвинение в измене. Военачальники возмутились, но члены Ареопага кричали:

— Не отдадим очагов и алтарей наших! Умрем, но не отдадим!

Фемистокл молчал, опустив голову. Поднялся шумный спор, все вскочили с мест.

— Да говори же, Фемистокл! — потребовал Ксантипп, который тяжело переживал нападки на своего друга. — Скажи хоть слово!

Фемистокл помедлил еще немного, затем поднялся, как зверь, который разминается, чуя запах дичи.

— Что же мне говорить? — произнес он. — Те, кто меня понимает, те, кто познал силу необходимости, те молчат... Аристида нет, нет льва, который мог бы доказать недоказуемое, а кричат здесь мелкие шавки, либо юнцы, либо персидские шпионы...

Члены Ареопага энергично протестовали, махали руками; пламя светильников колебалось.

— До сих пор, — возвысил голос первый стратег, — не я получал от спартанцев деньги, а мне приходилось им платить, чтобы они не покидали нас перед сражением.

Фемистокл протянул руку к военачальникам, как бы ища подтверждения, и те удрученно закивали головами: так, мол, верно.

— Послушайте меня, — почти умоляюще сказал стратег. — В последний раз послушайте! Я обращаюсь к тем, кто меня понимает, потому что к тем, кто не стремится понять и бубнит свое, к тем и нечего обращаться.

Присутствующие боялись шелохнуться.

— Царь Ксеркс ведет триста тысяч отборного войска, конницы и пехоты. Афинское ополчение, если даже мы вооружим всех, кроме рабов, составит не более тридцати тысяч. Каково же рассчитывать на союзников, вы знаете сами. Можем ли мы в таком положении помериться с врагами в открытом поле? Нет, нет, нет! — выкрикнул он с силой. — Враг пройдет по нашим трупам и возьмет город, завладеет не только алтарем — женами нашими, стариками и детьми завладеет! Нам что! Мы будем мертвы, нам будет все равно, а каково им будет влачить ярмо рабства и позора? Не станут ли они нас проклинать за то, что мы предпочли умереть, но не спасли их от злого жребия рабства? Что скажешь ты, Кимон, мудрый юноша?..

Кимон носком сапога рисовал на полу невидимые узоры.

— Есть другой выход. — Фемистокл высвободил из-под плаща руку, а затем и совсем сбросил плащ, чтобы свободнее жестикулировать. — Флот наш, хоть он и меньше, чем персидский, а в бою ему не уступает — это доказало сражение у мыса Артемисий...

Военачальники опять согласно закивали головами.

— Вывезем граждан на острова, войско посадим на корабли, потеряем Афины, зато спасем народ и войско.

Это была правда. Но настал час, когда правда пугает. Легко было весной рассуждать, где именно деревянные стены Паллады, которым суждено спасти город, а вот каково теперь обречь родину на гибель?

Тяжкие думы владели каждым. Мне тоже представилось, как варвары тащат в плен Мику, и мучат ее, и терзают юное тело...

— Боги, боги! — выкрикнул кто-то. — Неужели они не помогут?

Фемистокл усмехнулся и потупил глаза:

— Я надеюсь, что и боги нам помогут.

Каким он может быть разным и неожиданным! То глаза его мечут стрелы гнева, а руки вздымаются к небу, призывая олимпийцев в свидетели, а то, не успеет песок в часах пересыпаться, он становится спокойным, как летний ветерок, и только в словах его слышится колкая ирония.

— Прокормить триста тысяч варваров в нашей крошечной Аттике невозможно без подвоза с моря. Флот как раз и пригодится, чтобы лишить врага подвоза. К зиме они успеют сожрать и вытоптать все, а снова пахать и сеять некому, потому что у захватчиков всегда все господа. Вот тогда-то они и повернут конец назад и пойдут себе, побредут по разоренной ими же, голодной стране. А мы будем нападать, убивать, разить без пощады! — Рука Фемистокла, сжимая воображаемый меч, убивала и разила в воздухе. — Тем временем мы разрушим мосты на Геллеспонте, и ни один из этих трехсот тысяч не вернется домой! — торжествующе закончил он.

Все сокрушенно молчали; слышалось только потрескиванье фитилей в светильниках.

— Оракулов надо вопросить, оракулов! — жалобно сказал архонт-басилевс, ветхий старец, закутанный в теплую медвежью шкуру.

Все оживились — да, надо вопросить оракулов. Все вздохнули облегченно — явилась возможность переложить ответственность на плечи богов.

— Ну, как хотите! — Фемистокл блеснул глазами. — Призывайте назад Аристида, принимайте его план. Сражайтесь, гибните под стенами, но знайте: тогда погибнет уже все и ничего нельзя будет спасти и вернуть назад... Да и войска вам все равно не хватит, — прибавил он, чувствуя колебания старцев. Последний аргумент бросил, как меч на чашу весов. — Придется вам всех рабов отпустить на свободу, вооружить и поставить среди гоплитов — больше выхода нет.

Сердце мое екнуло: вот оно, начинается! Недаром, значит, меня сюда пригласили, хотя я еще и не знаю для чего.

А в зале все зашумели, заорали, замахали руками. Архонт-басилевс приставил к уху ладонь трубкой и переспрашивал:

— Что он сказал? А, миленькие, что он сказал?

Ксантипп вскочил, подбежал к Фемистоклу:

— Только не рабов, только не рабов, ведь это всему конец!

Фемистокл усмехнулся:

— Давайте тогда созовем народное собрание, быть может, оно сумеет выбрать путь...

Вновь послышался скрипучий голос архонта-басилевса. Старец говорил как бы сам с собой, размышляя, а все

прислушивались к его речам. Еще бы — ведь ему более ста лет и юность его прошла при мудром Солоне.

— Ареопаг сама богиня Афина основала. И что ты сказал здесь о народном собрании, молодой человек? Здесь собрались самые богатые и знатные, потомки богов. Им и решать судьбы города, а не каким-то горлопанам, которым нечего терять и нечего беречь.

Фемистокл, одинокий, стоял посредине. Его военачальники, даже верный Ксантипп, молчали, потупив глаза. Все напряженно ждали, пока почтенный архонт соберется с мыслями и изречет приговор.

— Ну, положим, что мы покинем город, увезем статуи и алтари. А святыни? Во дворе храма Эрехфёя на Акрополе живет священная змея, и есть прорицание, что удача не покинет афинян, пока с ними будет эта змея. Прикасаться к ней нельзя, и сажать в ящик тоже нельзя. Как ее увезти? Неужели покинуть?

— Не покинем священной змеи! — закричали старейшины.

Было решено вопросить оракулов, а заседание перенести на завтра.

Мне вспомнилась любимая присказка Мнесилоха: «В Афинах речи говорят мудрецы, а дела решают олухи...»

— Ох уж этот Ареопаг! — сквозь зубы говорил Фемистокл. — Враг видит нас с гор Пелиона, а им — змея! Каждое промедление — лишняя кровь и лишние слезы... — И удержал выходящего из залы Кимона: — А ты, доблестный сын славного полководца, ты тоже не покинешь священную змею? Твой отец не упирался в обычаи и предрассудки, он умел быть свободным и находчивым.

— Не знаю, — ответил Кимон, вежливо отстраняясь от руки стратега. — Как решат старшие, так и я. Скажут: на корабль — пойду на корабль. Все равно.

Светильники догорали и плевались искрами: звезды катились к закату — кончалась ночь.

СВЯЩЕННАЯ ЗМЕЯ

Рабы гасили светильники. Оставшись один, Фемистокл опустился на ложе, покрытое волчьей шкурой. Лицо его сморщилось, потеряло резкость, стало утомленным; чаша с напитком дрожала в руке.

А что же про меня — забыли? Нет, нет, вот первый стратег подзывает меня к себе.

— Ты достоин благодарности, — начал Фемистокл. — За сообщение о заговоре Лисий спасибо. Но помни, — добавил он сухо, — раб, доносящий на господина, подвергается ссылке в рудники — таков закон. Сегодня, однако, каждый патриотический порыв ценен.

И Фемистокл тротянул мне руку, украшенную рубином, который горел, как кровавый глаз бога войны. Быть может, он хотел, чтобы я поцеловал его руку? Еще несколько мгновений назад я бы с восторгом сделал это. Но слова о рудниках меня отбросили в реальность — я только раб! И я лишь прикоснулся пальцами к руке стратега.

Мне подали сласти: варенье, засахаренные финики, изюм, мед. Мне ничто в рот не лезло. Я горел от нетерпения — не затем же он меня позвал, чтобы кормить сластями?

Фемистокл между тем встал, скинул одежду; рабы стали растирать его могучую грудь, заросшую курчавым волосом. Он взял небольшие гирьки и сделал упражнения.

— Ленивым — сон, а нам — гимнастика, — засмеялся стратег, и усталость улетучилась с его лица, уступив место обычной царственной улыбке. — Теперь, рабы, удалитесь! А ты, мальчик, присядь ближе. Вот эта скамеечка — придвинь ее к моему ложу.

Тишина обступила нас, полумрак. Погасли все огни, кроме одной лампадки, а утро еще не наступало.

— Один человек мне рассказывал, что ты любишь Афины, что хочешь совершить подвиг для родного города, — вкрадчиво говорил вождь, подвигая мне тарелки с едой. — Я нарочно дал тебе выслушать все, что происходило в Ареопаге. Я ведь заранее знал, что дело у них упрется в какую-нибудь змею.

Сердце мое билось: вот оно! Наступает время свершения подвига!

— Каждый час промедления и колебаний, — продолжал Фемистокл, — грозит нам годами рабства и несчастий. Необходимо идти на тягчайшие жертвы. Слушай, мальчик, на тебя вся надежда... Ты веришь мне?

Я схватил его большую руку и крепко прижал к груди.

Стратег улыбнулся:

— Ты ловкий, смелый... Я наблюдал тебя в театре. Проберись в храм Эрехфея и унеси священную змею.

— Сейчас?!

— Да, сейчас, пока не наступил рассвет. Перед восходом солнца стража дремлет, а жрецам не до того: они закапывают свои сокровища.

— Но, позволь...

— Знаю, что ты хочешь сказать. Я хорошо обдумал все. Если тебя поймают, нам всем несдобровать и наше дело погибло. Но если удастся, боги нам простят: ведь мы крадем змею не ради корыстного интереса — ради спасения отчизны! Змею мы возьмем на корабль, и она будет нам приносить удачу в бою. Ну как, согласен? В случае успеха — свобода, слово Фемистокла!

Сердце у меня леденело от ужаса — украсть священную змею богини! Но ведь это подвиг, а подвиг без риска не бывает! Геракл тоже укротил лернейскую гидру, а она была порождением бога Посейдона!

Стратег щелкнул пальцами. Вошел дежурный. Фемистокл вполголоса отдал ему приказания.

Нам подали черные глухие плащи. Мы закутались и выскользнули через боковую дверь в переулок. За нами следовали четыре пельтаста. Фемистокл сунул мне в руку маленький кинжальчик в черепаховых ножнах. Я под полой чуть выдернул лезвие — пощупал: острый, как бритва!

Козьи тропинки на склонах Акрополя, которые начинаются на задворках храма Диониса, известны мне до последнего камушка: ведь там прошло мое детство. Пельтасты остались внизу, а мы с вождем стали карабкаться по склону. Я лез быстро, несмотря на темноту безлунной ночи, а грузный стратег поминутно оступался, царапался о колючки кустарника, ругался шепотом.

Но вот мы наверху, где свистит ветер и откуда небо видится как огромный купол, усеянный мигающими точками звезд.

— Я здесь останусь, — прохрипел, задыхаясь, Фемистокл. — Ты знаешь дорогу? Не заблудишься?

— Нет... Здесь все... все знаю.

— Ну иди. Да хранят тебя боги! И помни, что змея безвредна, она не кусается, не жалит. Ведь это даже и не змея — это безобидный уж.

Я быстро обогнул угол стоколонного храма Афины-девы. На пустынной площади часовые дремали, подстелив плащи и составив копья в козлы. Низко пригнувшись, почти на четвереньках, я пересек площадь. В задней половине храма

Эрехфея слышались голоса, двигали ящики, ругались — жрецы упаковывали храмовые богатства. Но их я не боялся.

Калитка во дворик храма была приоткрыта. Я проскользнул и стал нащупывать мраморную загородку, внутри которой змея обычно греется на солнце. Вдруг я наткнулся на что-то холодное и острое. Страшное лицо, физиономия чудища смотрела мне прямо в лицо выпуклыми глазами. Я похолодел, руки и ноги мои отнялись — вот оно, возмездие богов! Сколько я наслушался рассказов от суеверных рабов и умудренных жрецов о карах, которым боги подвергают осквернителей храмов!

Я медленно приходил в себя, а чудовище оставалось неподвижным и устрашающим.

Ба! Да ведь это Кекроп змееногий — раскрашенная статуя покровителя Афин! Сколько раз днем я видел эту статую!.. Она, правда, вселяла страх так была она ужасна, но ведь это всего только статуя!

Собравшись с духом, стараясь избавиться от противной дрожи, я подполз к мраморной низкой ограде и стал шарить рукой по песку, надеясь ухватить змею, но змеи там не было.

Ухнул филин, и я опять от неожиданности вздрогнул. Становилось жутко, боги решили пугать меня чем только можно. Вдруг на крыше храма ветер засвистел, точно жаловалась душа покойника.

В голову лезли гимны и молитвы. Я стал читать их, чтобы умилостивить богов на всякий случай:

— Царица священной страны, Паллада, владычица города... Нет, сбился!.. Победу даруй непременно... и ныне, богиня, даруй!.. О боги.

Зажмурив глаза, я продолжал искать змею.

Змеи нет. Рука моя только хватает и пересыпает сухой песок. Статуи богов кажутся чудовищами, которые таращат на меня глаза и тянут щупальца из кромешной тьмы.

Нет змеи! Я не выдержал и побежал назад — скажу Фемистоклу, что змеи нет и в темноте ее не сыскать. Обратно я бежал даже не пригибаясь, и мне казалось, что эринии — богини мщения — мчатся за мной и завывают на все лады.

Тень Фемистокла маячила на краю стены Акрополя. Подбегая, я поднял руки и растопырил пальцы, чтобы показать стратегу, что я не несу змею. Но, когда я добежал, оказалось, что Фемистокла уже нет на условленном месте. Небо посветлело — приближалась заря, и силуэты предметов были отчетливо видны. Значит, Фемистокл понял, что я струсил, и ушел, не дожидаясь меня. Нет мне оправдания!

Я отдышался, пришел в себя. Вот и не удался мой первый

подвиг. Недаром есть пословица: «Человек предполагает, а боги делают по-своему». Вдруг неожиданное воспоминание озарило меня: жрецы ведь рассказывают верующим, что змея на ночь уползает под ступени храма. Назад, назад!

Я сразу решился на все и храбро пустился к храму.

Мне показалось, что массивная тень мелькнула возле храма Эрехфея и исчезла. Что за притча — уж не тень ли это Фемистокла? Какая теперь разница — вперед, вперед!

И вот я снова во дворике. Бледный свет уже озарил высокие слоистые облака, развиднелось. Вот мраморная ограда, вокруг которой я ползал. Вот раскрашенный Кекроп, которого я испугался, а вот и крыльцо храма. Я опустился на колени и засунул руку под ступени. Долго я шарил, но и там змеи не было. Рассвет уже царил в небе. Надо было, не мешкая, уходить.

Когда я поднимался, отряхивая песок с колен, разочарованный, — мне в глаза бросился возле лестницы свежий отпечаток громадной пятерни на песке, такой же громадной, как та, которую я сегодня так пылко сжимал в доме стратега! Кто-то опередил меня, кто-то запустил бестрепетную руку под ступени и унес змею!

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОРОДА

Меня разбудил Килик ударом костыля:

— Эй, за работу! Ночью шляешься невесть где, а днем дрыхнешь?

Молния меня пронзила: сегодня ночью я доказал, что недостоин свободы, трус я, хуже собаки, навеки раб!

Ноги зудят, и во всем теле противное беспокойство — бежать бы, кричать бы, драться, только бы не сидеть на месте. Но Килик нагружает работой: подай, подержи, упакуй!

— Килик, эй, слышишь? — кричит ему храмовый повар, вернувшийся с базара. — В городе паника, все кричат: змея исчезла из храма Эрехфея, боги отвернулись, конец пришел городу... Люди собираются покидать очаги.

— Я не собираюсь покидать, — ворчит Килик. — А змею надо было охранять покрепче. Я предполагаю, чье это дело, только не богов... Боги здесь ни при чем... Эй, постреленок! — кричит он мне. — Беги скорей в храм Асклепия, спроси, готовы ли мулы для вывоза корзин. Пришел указ от нечестивца Фемистокла, чтобы сокровища богов не зарывали в землю, а перевозили на Саламин, к его кошельку ближе!

О улицы города! Куда делось ваше спокойствие в полуденные часы, когда под сплетенными сводами шелковиц и акаций царствует зеленый, тенистый, влажный и пахучий мир! Куда делась безмятежность харчевен, где в котлах варится рыба кефаль, а на вертелах жарятся бараньи почки, где толпы бездельников, бывало, потягивая напитки, обменивались городскими сплетнями?!

Теперь по улицам с плачем, ревом, бранью, грохотом несся поток беженцев... Катились повозки, нагруженные скарбом; кивая головами, шли ослы, навьюченные чем попало. Крестьянские женщины тащили полуголых орущих ребятишек и в отчаянии заламывали костлявые руки. Скорбные старики брели, покорно опираясь на посох, слезились выцветшие глаза, видавшие все на свете.

Телега, запряженная сильными мулами, везла семейство какого-нибудь эвпатрида, — над бортами покачивались головы женщин, укутанные покрывалами, евнух с морщинистым личиком опекал старших детей, младшие прикорнули возле кормилицы. За телегой шли хмурые рабы, на всякий случай закованные в кандалы, несли на плечах сундучки, узлы, коробки.

Возница пытался обогнать крестьянских ослов, но упрямые животные не хотели посторониться, и тяжело нагруженная телега,

медленно накренясь, сползла колесом в канаву, повернувшись, загородила улицу.

Если бы вы слышали, какой крик поднялся тут! Женщины в телеге вскочили и стали бранить крестьян; те начали толкать телегу, чтобы освободить проход. Безучастные рабы положили ношу на землю и наблюдали, как вся улица оскорбляет и поносит их господ.

Послышался острый посвист флейты и мерный гул шагов.

— Дорогу войску филы Эантиды! — донеслись крики глашатаев. — Дорогу славному ополчению!

Городские стражники кинулись в свалку посреди улицы, замелькали красные палки.

— Курносый варвар! — голосили женщины на телеге. — Как ты посмел ударить меня, благородную афинянку?

Но скифы выпрягли мулов и, окончательно опрокинув телегу, сбросили ее с дорожной колеи. Улица освободилась, и по ней прошли флейтисты, раздувая щеки, высвистывая веселую походную мелодию. Я вспомнил прохождение войск на празднике. С каким упоением все тогда приветствовали марширующих воинов и как тяжело прощаться с ними сейчас! Мальчишки не бежали, как обычно, за гоплитами; собаки не кусали за пятки шагающих, как будто и они чувствовали горечь утраты.

— Смотрите, смотрите, вместе с гоплитами идут и всадники из знатных! Вот Кимон, сын Мильтиада, вот Лисимах, сын

Аристида, а вот живописец Полигнот. Почему они в пехоте?

— Разве ты не знаешь? Сегодня утром они повесили свои всаднические щиты и сбрую в храме Афины в знак того, что уходят сражаться на море.

— Вот как! — насмешливо заметил прохожий, бывший моряк. — У нас, у афинян, конница только для красоты — позолоченные латы, страусиные перья. Потому-то аристократия и служит в коннице — там безопасней всего. Ну, Посейдон — владыка моря теперь наломает им ребра!

— Ах! — вздохнула старушка беженка. — В такие дни везде опасно служить. У меня восемь сыновей, все вчера взяли оружие.

Живописец Полигнот шагал последним в колонне. За строем шли удрученные родственники, несли узелки с едой, оплетенные фляжки, чтобы вручить их воинам перед прощанием. Шла и Эльпиника, невеста Полигнота. Ее красивое лицо словно окаменело; золотистые волосы уложены тщательно, как всегда; платье кокетливо застегнуто на плече резной пряжкой. Казалось, она и не расстроена разлукой.

— Иди, Эльпиника, иди, жаворонок мой, — не оборачиваясь, говорил Полигнот. — Встретимся еще, приноси жертвы Афродите.

Возле храма Арея, бога войны, — море голов. Там идут торжественные жертвоприношения. Бормочут гулкие барабаны, свистит одинокая флейта, нагие юноши в хвостатых шлемах исполняют военную пляску, молча движутся по кругу, ударяют щит об щит, меч об меч. Все громче грохочут барабаны, все быстрее кружатся смуглые юноши, сверкая медью. А народ не радуется их удали, народ плачет. Все плачут, не стыдясь, и по бесстрастному лицу Эльпиники катятся слезы, как хрустальные горошины. Уже давно слабый женский голос окликал сзади:

— Господин, господин...

— Тебя зовут, парень! — дернул меня за хитон отставной моряк и улыбнулся насмешливо: — «Господин»!

Это старая нянька Мики. Она плачет, сморкается в подол, и я долго не могу добиться от нее ни слова.

— Наш хозяин, Ксантипп... — лепечет она. — Да хранит его Посейдон, конеборец...

— Ну, в чем дело? Ксантипп, ты говоришь? Да ну же, перестань плакать!

— Ах, молодой господин!..

— Да не господин я, такой же раб, как и ты.

— Не господин? А я думала, ты защитишь нас, да будет над тобой милость бессмертных!

— Будет, будет милость, бабка. Ну говори, в чем дело?

— Хозяйка совсем плоха, уж и глаз не открывает. Ксантипп

так и не пришел... Прислал матроса, передал кошель с деньгами. А на что они теперь деньги? Разве что-нибудь сейчас купишь, кого-нибудь наймешь?

Старуха охала, звенела амулетами на худых руках.

— Мика посылает: иди, старая, отыщи отца, скажи ему... Я — в дом стратега, туда не пускают, говорят — он в гавани; я к морю — и там его нет. О милосердные боги! А мне еще врача искать... Все бегут, все едут. Кто же нам, несчастным, даст телегу, кто увезет нас от мидийской напасти?

Чувство решимости меня переполнило. Ладно, уж если не пришлось совершить подвиг ради отчизны, сделаю все для Мики. Как говорит Ахиллес в «Илиаде»?

Пусть бы я умер сейчас за то, что другу в несчастье
Помощь подать я не мог, и погиб он вдали от отчизны,
Тщетно меня призывая, защитника в бедствии грозном!

— Ступай, бабка. Ищи врача, а я разыщу Ксантиппа. Он пошлет за вами, и вас увезут на Саламин.

Вот и Мнесилох. Напялил на себя все свои одежды — и новые, и ветхие, бороду расчесал, как в большой праздник. Помахал мне рукой из-за толпы с той стороны улицы.

Отряд всадников цепочкой пробивался навстречу бурному потоку войск и беженцев.

— Где враг? — нагибаясь с коня, спрашивал бегущих бородатый командир.

— В Декелее! — кричали одни.

— В Ахарнах, в Алопеке! — указывали другие.

— В Керамике он, в предместье Афин! — завопил какой-то горшечник, который нес завернутый в холст гончарный круг — свое единственное богатство.

— У страха глаза велики, — заметил Мнесилох, который, запыхавшись, перебежал на мою сторону. — Кто откуда бежит, тому и кажется, что враг именно там. Эти парни на конях, наверное, посланы в разведку. Эх, Алкамен, вот бы мне перед смертью еще разок душу потешить!.. Да ведь это Эсхил, поэт! — вскричал он, когда командир всадников обернулся, кому-то угрожая плетью.

Мнесилох тут же подбежал к Эсхилу, ухватил его за стремя:

— Разве я инвалид? Я стар — ну и что же? У старого козла шлифованные рога! Мы с тобой плечом к плечу стояли на

Марафонском поле. Для разведки лучше меня не сыщешь: знаю язык персов, могу нюхать, как ищейка!

Но Эсхил поднял пустой рукав его хитона и отрицательно покачал головой. Курносые стражники беспощадными палками расчистили дорогу, послышалась короткая команда, и всадники исчезли за поворотом — только облако пыли рассеивалось по улице.

— Если с голоду, то можно подыхать, — жаловался Мнесилох. — А как умереть за отчизну, так не дают!

ОТЩЕПЕНЕЦ

Но тут меня сцапал Килик. На людях побоялся бить, схватил за ухо и повел под насмешки толпы, приговаривая:

— Вот я тебе покажу, как ротозейничать, змееныш!

Он пришел меня в кладовую храма. Рабов почему-то не было, и Килик сам, охая и надсаживаясь, навьючивал корзины, а другие жрецы погоняли ослов в горы, где, наверное, прятали имущество в какой-нибудь пещере.

«Все равно, как начнут переправляться, — упрямо подумал я, — улизну, разыщу Ксантиппа, потом переправлюсь сам».

Как бы не так! Килик объявил, что не собирается уходить на Саламин: ведь священный огонь в храме должен и при мидянах гореть, а он, Килик, будет его поддерживать. Меня же он оставляет прислуживать: я маленький, варвары меня не отнимут.

— Оставляю с собой! — назидательно повторил жрец. — Хотя ты и лодырь, и грубиян, и задираешь нос.

Но желание отыскать Ксантиппа жгло меня, не давало покоя. Я стал потихоньку прятаться за колонны, надеясь выйти в сад и перелезть через ограду. Килик заметил это, настиг меня и молча отстегал ослиной упряжью. Я тоже молчал, только вихлялся всем телом, уклоняясь от ударов. Мы оба запыхались. Он меня отпустил — я повалился на траву. Тогда Килик подозвал другого жреца, и они привязали меня к дереву той же упряжью.

— Я бы его давно утопил! — задыхаясь, прошипел Килик. — Да способности есть. В другой час хорошие деньги за него можно взять!

Ах так! Жажда действий меня охватила. Одна рука у меня была прикручена возле пояса, где я прятал кинжал Фемистокла. Когда жрецы отошли, я напряг скрученные пальцы с такой силой, что даже похолодел от боли. И все-таки я извернулся и вытянул кинжал. Несколько движений лезвием — и я свободен! Порезанные пальцы и ноющие кости не в счет!

Я уже не соображал, что делаю. Напустив беззаботный вид, я обогнул колоннаду и показался Килику и жрецам. Те сначала рты разинули, потом пустились за мной с криками:

— Держи его! Ах бунтовщик, ах хитрец!

Но я уже перевалил за бронзовую решетку — и был таков!

Сел передохнуть в безопасном местечке. По мере того как утихало биение сердца, ужас охватывал меня. Ведь я теперь беглый раб! До сих пор я мог сколько угодно проказничать, отлынивать, шалопайничать — за все расплачивалась моя спина. Но теперь я перерезал путы, которыми меня связал господин, он кричал мне: «Стой!» — а я убежал да еще дразнил его. Теперь каждый афинянин и чужеземец не только имел право, но даже был обязан убить меня на месте как отщепенца!

Постой, постой, Алкамен, хорошенько обдумай. Может быть, пока не поздно, вернуться, приползти, претерпеть побои Килика, и все останется по-прежнему? Да разве Килик станет теперь бить? Он уж сразу утопит.

Так что вперед, навстречу судьбе! Верю: мой подвиг еще впереди.

Хоронясь за зеленью оград, прячась в вереницах беженцев, я побежал к дому стратега: там теперь весь узел жизни. У дома стратега воины еле сдерживали толпу. Там и Мнесилох просился к Фемистоклу, рвал на себе одежды, умолял. На всякий случай я

стал в тень, а вдруг прозорливый Мнесилох взглянет на меня и догадается, что я теперь беглый раб?

Неожиданно из дома вышел Фемистокл. Он быстро спускался к крытым носилкам, на ходу застегивал перевязь меча и отдавал приказания адъютантам. Я рванулся к нему — упросить, умолить, объяснить, хотя бы стоя на коленях! Куда там! Целая орда просителей ринулась: кто протягивал свиток с заявлением, кто плакал, кто бесцеремонно хватал за плащ. Фемистокл, не обращая внимания, готов был сесть в носилки, как вдруг заметил Мнесилоха:

— А тебе что, боевой товарищ?

— Поставь меня в войско, никто не хочет меня брать. Когда был молод конем именовали, стал стар — клячей обзывают. Пусть у меня нет руки, но у меня опыт и бесстрашие. Я буду вдохновлять мужей и учить юношей.

— Иди-ка, старик, на пристань. Вот восковая табличка, предъяви ее, и тебя без очереди перевезут на Саламин.

— Что ты меня гонишь! — завопил бедный комедиант. — Подари мне право умереть за родину!

— Умереть — не шутка, — усмехнулся Фемистокл. — Надо победить.

— Дай мне дело, чтобы и я участвовал в общей победе!

Тут из дома выбежала полная болезненная женщина.

— Жена Фемистокла! — неуверенно шепнул кто-то.

Ее мало знали в лицо, потому что, подобно другим знатным, Фемистокл держал жену взаперти.

— Как же нам быть? — тревожилась женщина. — Все уложено, мулы готовы, а ты не велишь нам отправляться?

Лицо Фемистокла выразило скрытое страдание, но тут же он, словно актер в театре, надел обычную маску насмешливости:

— Разве необходимо спешить? Разве нет более неотложных дел?

— Но как же быть? Алкмеониды бегут, Эвмолпиды бегут — все бегут!

Фемистокл выпрямился. Лицо его было жестко.

— А мы не побежим, мы переправимся тогда, когда это будет необходимо. Знай, женщина, — ведь ты сама вынесла этот спор за порог, так говорю при людях, — знай: мы не побежим!

— Но дети, дети! Ты не думаешь о своих детях!

— Кроме своих, вот у меня дети! — Он обвел рукой ряды воинов, которые взирали на него, как на новоявленного олимпийца. — Афиняне, знайте и вы: Фемистокл не подвержен панике. Жена и дети его останутся здесь, пока самый последний афинянин не будет перевезен на Саламин!

В наступившей тишине было слышно, как всхлипывает женщина.

— Мне страшно... — лепетала она, и всем стало ее жалко. — Я все время одна и одна!

— Мнесилох! — позвал стратег. — Вот тебе дело, которое ты искал. Заботиться о семье полководца — это значит охранять спокойствие его самого, другими словами — обеспечивать победу!

Он ласково потрепал плачущую жену за волосы и сел в носилки. Носилки тронулись в сопровождении конного конвоя в гривастых шлемах.

— Стойте! — вдруг повелел Фемистокл и протянул из носилок свой прадедовский меч с богатой перевязью. Резьба на мече изображала Калидонскую охоту: скачут обнаженные всадники, травят мохнатого вепря. — На, Мнесилох, это тебе как символ твоего дела. В бой я возьму меч гоплита, а этим мечом ты охраняй род Фреарриев, семью Фемистокла!

Мнесилох заковылял по лестнице вслед за женой стратега. А что же предпринять мне?

— ...Ксантипп сейчас в Мунихии в военной гавани, — донесся до меня обрывок разговора. — Проверяет готовность флота.

Я помчался в гавань.

В ГАВАНИ

Вечерело. Моря не было видно из-за причаленных кораблей. Люди сновали по настилу пристани: одни волокли корзины, другие укладывали паруса, третьи затягивали снасти. Корабельщики бегом пронесли на плечах два длиннейших весла, рабы под хлопанье бичей тащили по сходням мешки, тюки, огромные амфоры. Окончив погрузку, корабли отчаливали и выходили в пролив, где собралась их целая эскадра.

Ксантиппа здесь не было, никто о нем ничего не говорил, а может быть, просто не хотели говорить? Я толкался, надеясь что-нибудь разузнать.

На горизонте виднелись плоские вершины Саламина. Туда направлялись многочисленные лодки, барки, плоты, перегруженные людьми. Это было драматическое зрелище — все стремились попасть в лодку непременно первыми, как будто неприятель уже наседает. Здоровенные мужчины, по неизвестной причине не попавшие в войско, кидали в лодку мешки, лезли, отталкивая женщин, сбрасывая чужие корзины, опасно накреняя лодку. Невозмутимые корабельщики отпихивали буянов, сажали в лодки женщин и стариков, давали сигнал к отплытию. Когда лодка отваливала, обязательно кто-нибудь из нетерпеливых кидался в нее с пристани, срывался в воду; его дружно вытаскивали и вылавливали его пожитки.

— Ты что не пускаешь? Ты что не пускаешь, да поглотит тебя Эреб! — кричал бородатый холеный афинянин, вырываясь из рук корабельщика.

— Гребцы падают от изнеможения, — вразумительно отвечал тот. — Сколько концов им сегодня пришлось сделать? А нам легко? Я вот тебя усаживаю в лодку, а сам не знаю, где мои родичи, успели ли уйти из деревни...

— Говорят, там морской бой идет, — сказал подошедший беженец.

— Где, где? — Все головы сразу обернулись к нему.

— Возле мыса Суний. Сегодня утром царь велел блокировать афинские гавани, чтобы помешать переправе на Саламин. Фемистокл послал навстречу Ксантиппа. Рыбаки пришли, говорят, бой идет вовсю.

— Это который Ксантипп? — спросили из темноты. — Тот, кто был хорегом на последнем представлении?

В голосе звучала озабоченность: сумеет ли этот человек исполнить свой долг?

— Ксантипп — бывалый моряк, — заверил дежурный

корабельщик. — И его навархи не колуном строганы. А у персов во флоте кто? Наши изменники греки да презренные финикийцы. Собственных ведь кораблей у персов нету.

Я подумал: раз Ксантипп с кораблями у мыса Суний, значит, мне здесь делать нечего. Теперь можно понять, почему он забыл о семье. Вот мой долг: позаботиться о его жене и детях. Что сказал Фемистокл Мнесилоху? «Заботиться о семье полководца — обеспечивать победу!» Надо бежать в Колон!

Но мне не удалось сразу бежать в Колон.

По пристани медленно двигалась колонна полуодетых людей, закованных в цепи. Громадные костры разгоняли наступившую темноту, озаряли оранжевым светом крутые бока кораблей. Волны выносили из путин багровые блики.

Люди, звеня цепями, переговаривались на чужих языках. Всё это были мужчины, здоровые, мускулистые.

Я притаился за пирамидой корзин — догадка меня ужаснула. Ну да, ну конечно, так и есть — вот и наши храмовые. Вот Псой, садовник, вот Зубило, Жернов, неуклюжий Лопата, а вот и Медведь, рыжий скиф.

Я так обрадовался своим, будто родных встретил. Даже Медведю кинулся бы на шею, забыв про старую распрю.

Послышалась команда. Конвоиры опустили копья, которыми они подкалывали отстающих. Звякнуло железо, и все в изнеможении опустились на камни пристани кто где стоял. Я высунулся из-за корзин, чтобы наши меня заметили.

— Алкамен, ты здесь? — удивились храмовые. — Беги скорей, а то и тебя к нам прикуют.

— Почему вы здесь? И в цепях? Куда вас гонят?

— Это все твой Фемистокл! — прорычал Медведь. — Этот демократ велел собрать здоровых рабов со всего города, заковать в цепи, на корабли гребцами посадить. Остальных в цепях же отправили на Саламин, чтобы не перебежали к врагу.

— Беги, Алкамен, беги, голубчик! — торопил жалостливый Псой. — Беги, пока можешь. Сейчас война, паника, никто не заметит твоего бегства. Беги на Саламин, на Эгину, дальше — на Крит: критяне, говорят, не выдают беглых рабов греческим городам.

— Что ему бежать? — насмешливо сказал Медведь. — Он, наверное, мечтает сражаться и получить гражданский венок!

Скиф поднял руки, скованные наручниками, и в ярости потрясал ими.

— Лучше сдохнуть! — гремел он. — Лучше сгнить живьем, чем умереть за такую демократию, где одним всё — и венки, и театры, а другим ничего только труд, голод, кандалы! Проклятье!

— Эй ты, рыжий! — крикнули конвойные. — Заткнись!

— Ладно, ладно! Уж мы сядем на корабли! — продолжал Медведь. Он встал посреди сидящих рабов во весь рост, отблески костров плясали на его страшном лице. — Сядем за весла! Но цепи наши недолговечны — слышите, братья? Будьте готовы взять судьбу в свои руки!

Товарищи дергали его за руки, тянули за пояс, но разве можно было справиться с таким великаном? Только когда конвойные нацелили в него копья, он смирился и сел; блеснул огненным глазом и махнул мне рукой.

Прощайте, храмовые! Мика зовет меня незримо. Будущее неясно, но жить без надежды на будущее я не могу.

Я кинулся в город. Беженцы шли навстречу, переговаривались:

— Ты слыхал? Царь выслал конницу, и она грабит окрестности. Говорят, уже на улицы прорывались.

— Да-да... Мне говорили, что варвары уже в Академии...

В Академии? Ведь это же рядом с домом Мики! И чего я, дурак, зря околачивался, искал Ксантиппа?

В Колон, в Колон!

ГОРОД ВЫМЕР

Когда-то (еще сегодня днем!) здесь кипела разноголосая толпа. В колоннадах нищие просили милостыню, философы учили мудрости, парикмахеры, посадив на табурет, ровняли прически, завивали бороды.

Теперь Млечный Путь — серебристая пыль — еле позволяет разглядеть причудливые громады. Редкие прохожие, как тени Аида, за глинобитными стенами — ни огонька, ни вздоха. Далекий собачий лай, и все.

— Эй, кто идет? — окликнула стража. Я хотел скрыться, но меня догнали.

— Э, да ведь это Алкамен из театра, — узнали меня воины-пельтасты. Тот, что весной был корифеем. Куда идешь, малыш? Давай мы тебя переправим на Саламин.

От воинов, которые еще вчера были кузнецами или сапожниками, пахло кожей, дымом, овчиной, чем-то домашним. Я взял да и рассказал, что иду выручать семью Ксантиппа.

— Выручать? — засмеялись пельтасты. — Как же ты один, маленький, выручишь? Там нужна тележка, чтобы вывезти необходимое, нужны мулы, чтобы ехали господа...

Я стал доказывать, что, во-первых, я не маленький, а во-вторых, уведу семью Ксантиппа пешком — имущества все равно у них нет.

— Как же этот Ксантипп, — возмущались воины, — семью не вывез, оставил без помощи?.. Вот вам и знатный!

— Ксантипп — в море, — сказал седой командир пельтастов. — А за его семьей послан конный отряд Эсхила. Они только что проходили здесь. Эсхил сказал, что как разведает, где неприятель, так тут же вернется к дому Ксантиппа. Так что тебе, мальчик, нечего там делать. Отправляйся-ка на Саламин.

Я просил меня отпустить, готов был пасть на землю, молить.

— Ну ладно, ступай, — сжалился командир. — Позаботься о них, если они одни. Заботливость иной раз лучше лекарства.

Я помчался как ветер. Как бы не опоздать — увезут Мику воины Эсхила, так и не увижу ее.

Вот и Колон. То же безлюдье, те же громады деревьев, в темноте похожие на мифические чудища. Кто-то стоит возле дома Ксантиппа — не видно, кто, но чувствуется, что стоит. Я на всякий случай бегу по-кошачьи — на одних пальцах ног.

— Это кто? — услышал я голос, знакомый, как щебет ласточки. — Ты пришел?

— Да, я пришел.

В горле першило от волнения.

— Мама наша умерла. Мне очень страшно. Никого нет кругом, куда все делись?

Чувствовалось, что она еле удерживает слезы.

— Кругом война... — ответил я. — Все бегут на Саламин. Я пришел за вами, идем скорей!

— А как же мама? Как мы увезем ее с собой?

Вот это загвоздка. Можно увести девочку и ее брата, но как унести мертвую? А Мика повторяла:

— Я от мамы никуда... Пусть она неживая, но я с ней...

Она взяла меня за руку и повела в дом. В дальней комнате на раскладной кровати лежало тело, накрытое простыней. По стенам волновались огромные тени от лампадки. Мальчик безмятежно спал, положив голову собаке на мягкое брюхо. Пес, почуяв меня, тихо зарычал. Поднялась нянька, лежавшая в ногах у мертвой госпожи, цыкнула на собаку.

Мика села у кровати, откинула простыню и, положив подбородок на грудь матери, уставилась в ее спокойное лицо.

Что делать? Бежать за помощью? Но кругом ни души. А кто и притаился за глухими заборами, не отзовется, хоть горло надорви! И где же, в конце концов, этот отряд Эсхила, о котором говорил начальник пельтастов?!

— Нянька, — сказала Мика, — лампада совсем гаснет, добавь масла...

— Милая госпожа, — зашептала старуха, — масла ни капли, тебе же известно. Давай уйдем, оставим тело — ну кто тронет мертвую? Потом вернемся или пришлем за ней.

Но девочка покачала головой, и нам стало ясно, что она не уйдет ни за что.

Вдруг мне почудилось треньканье бронзы на улице: так звенит только уздечка у боевой лошади. И действительно, тут же послышался приглушенный храп коня. Собака приподняла голову, насторожила уши.

Вот он, наверное, отряд Эсхила!

Я выбежал навстречу и увидел силуэты всадников на усыпанном звезами небе.

Оглушительный удар сбил меня с ног.

НОЧНОЙ БОЙ И ПОГОНЯ

Ловкие руки больно связывали меня веревкой; лопотали незнакомые голоса, звенело оружие. Как поднять тревогу? Я закричал, как будто с меня сдирали кожу. Та же жестокая рука всунула мне в рот отвратительный клок овечьей шкуры.

Медовый голос (такой знакомый!) пропел:

— О доблестный начальник! Вот это тот дом, о котором мы тебе говорили... Да ты понимаешь ли по-гречески? Или повторить?

— Мы понимам... — ответил невидимый в темноте варвар, коверкая слова. — Где красивый девчонка, как твоя обещал?

— Там, там она, в доме!

Неведомые люди, топая и бранясь, вваливались в дом. Вот оно что! Это ростовщики — лидиец и египтянин — привели с собой варваров! Теперь несдобровать ни мне, ни семье Ксантиппа.

Дюжий варвар поднял меня, спутанного, и повесил на седло головой вниз. В таком положении у меня глаза готовы были лопнуть, от запаха овчины тошнило; я чуть было не потерял сознание.

Раздался отчаянный лай — наверное, Кефей набросился на врагов. Конь, на седле которого я висел, шарахнулся и сбросил меня в канаву. Я ударился очень больно, слезы лились, и в носу свербило; зато одна из веревок порвалась, и я быстро распутался.

Яростный брех собаки и гортанные крики раздавались по всей улице; один из варваров закричал жалобно, как ягненок под жертвенным ножом, — значит, Кефей его покусал.

Из-за деревьев взошла величественная луна. В ее равнодушном сиянии я увидел, как всадник заарканил Кефея и волочил в пыли его обвисшее тело.

Пример бесстрашной собаки меня воодушевил. Из дома вынесли барахтающегося мальчика и за волосы выволокли Мику. Девочка кричала, а варвары, смеясь, отрывали от притолоки ее цепляющиеся пальцы.

Я нащупал в поясе кинжал Фемистокла. Слепой от ярости, я выскочил из канавы и ударил того, который волочил Мику.

— Ай-ай-яй! — закричал варвар; кровь потекла черной струйкой из его бока.

— Ай-ай-яй! — удивились его товарищи и накинулись на меня.

Я не помню, как защищался; удары сыпались мне на плечи, на голову, острие копья вонзилось в плечо. Я вывернулся — острие поддело и разорвало кожу. Мне удалось полоснуть

кинжалом носителя копья — он вывалился из ряда нападающих.

Удар обрушился на меня сзади. Я обернулся — Мика подняла обломок копья и, зажмурив глаза, крушила по чему попало. Рослый варвар выбил у нее копье, и вот она опять закричала, схваченная за волосы.

Полная луна все так же бесстрастно взирала на мечущиеся тени. Изредка ее свет вспыхивал серебром на кольчугах и уздечках.

Наконец варвары поняли, что имеют дело всего-навсего с одним обезумевшим мальчишкой. Я был тут же сбит с ног; глотая пыль, успел разглядеть колеблющийся свет факелов, который приближался как бы с неба. Голос лидийца перекричал весь гам и плач сражения:

— Афиняне идут, спасайтесь, доблестные!

Мучители бросили меня и вскочили на коней. Ростовщики, подобрав полы длинных одежд, спасались в кустах. Все утихло; только пронзительно плакал Перикл и слышался удалявшийся топот.

Бородатое, спокойное, «свое» лицо Эсхила склонилось надо мной.

— Силен мальчишка! — донесся до меня голос какого-то воина. — Один двоих прирезал.

Я убил двух человек! Я лишил жизни двух взрослых людей! Я все время мечтал о войне, которая принесет мне перемены, но почему-то никогда не думал, как ужасна чужая смерть. Подняв голову, я со страхом вглядывался в лица трупов.

— А где же дочь Ксантиппа?

Я вскочил на ноги. Воины обыскали весь дом, успокоили Перикла, привели в чувство няньку. Даже собака, когда разрезали петлю аркана, встала, пошатываясь, подошла к мальчику и лизнула его в щеку.

— Где же девушка?

Тогда послышался подобострастный голос. Говорил волосатый лидиец, которого вытащили из кустов и поставили на колени:

— Увезли ее варвары, негодяи, бросили в седло и ускакали, милостивый господин...

— По коням! — скомандовал Эсхил.

Мой старый знакомый, десятник Терей, который когда-то водил нас с Мнесилохом к Фемистоклу, посадил меня на круп своего коня. Конь был рослый, и мне было видно далеко, как с крыши какого-нибудь сарая. Мне приказали смотреть в оба, чтобы распознать врагов. Няньку, Перикла и пленных пока Оставили под охраной.

Я не мог не оглянуться на тела убитых мною варваров. Эсхил заметил это и ободрил меня:

— Ужасна смерть, невыносима кровь! Но правда владела твоей рукой. Не печалься, мальчик.

А Терей добавил, натягивая поводья:

— Не ты бы их, так они бы тебя!

Мы неслись стремглав, припадая к седлам от бешенства встречного ветра. В лабиринте переулков, тупиков, садов, огородов мы бы никогда не настигли варваров, если бы боги не были к нам благосклонны. Варвары сами заблудились и, услышав топот конницы, поскакали навстречу, принимая нас за своих.

Предводитель персов что-то крикнул нам по-своему. Ему ответил афинянин, который знал их язык.

Можно было уже разглядеть, как они движутся неторопливой рысцой, а один перекинул через седло чье-то тело, завернутое в плащ. Афиняне неслись на них, как хищные птицы, и при свете раздуваемых факелов по заборам и деревьям мчались крылатые тени.

Мы сшиблись с криком торжества, сверкнули клинки, послышались проклятья варваров. Десятник Терей ударил копьем переднего варвара, но тот успел подставить щит — копье скользнуло, а мы от удара чуть не вылетели из седла. Тогда Терей перегнулся через коня и обеими руками схватил врага за горло. Кони заплясали в чудовищном танце, захрипели, закосились, и на песок закапала кровавая пена.

Я держался, еле вцепившись в медный пояс Терея. Еще рывок — и вот я вылетел, катаюсь по песку, уворачиваюсь из-под неистовых копыт. Но схватка переместилась. Я перевел дух и заметил на песке завернутое тело, которое выронил варвар. Я подполз, развернул — Мика! Ее лицо было бледно и спокойно; ресницы бросали дрожащие от факелов тени.

Я прижался ухом к ее груди: сердце молчало!

РАССВЕТ

И вот я сижу на траве над ее телом так же, как час назад она сидела над телом матери. Варвар ткнул ее ножом, как только убедился, что добыча ускользает. Впрочем, Мика жива — сердце прослушивается еле-еле. Опытные воины хотели перевязать, но нянька не допустила: прикладывала какой-то амулет, шептала, и вот теперь кровь не течет, хотя при каждом вздохе девочки что-то ужасно хрипит и булькает в ее груди.

К месту нашей схватки воины привезли Перикла и няньку, пригнали и ростовщиков. Сумрачный Эсхил не хотел допрашивать чужеземцев, махнул рукой, — воины потащили их в сторону. Лидиец повалился, елозил в пыли волосатой головой, умолял пощадить, предлагал выкуп, уверял, что у него шестеро детей в Лидии.

— Чужих детей ты зато не щадил, — выругался Терей, подгоняя его копьем.

Египтянин сбросил полу плаща, которой он окутывал бритую голову, протянул руки к Эсхилу:

— Господин, прежде всего справедливость! Пусть нас судит закон... Мы защищали этих детей, уговаривали варваров. Спросите хоть мальчика. — Он указал на меня.

Все обратились ко мне. Какая постыдная ложь! Он думает, что я не видел, не слышал... Одно мое слово... Но умертвить еще двух человек! Как сказал Фемистокл: «Надо быть великодушным к побежденному...»

— Он правду говорит? — спросил меня Эсхил.

Ах, скорей бы тишина, скорей бы хоть краткий отдых! Я кивнул головой, не поднимая глаз. Ростовщиков отпустили. Те кинулись прочь, расточая благодарности.

Все тело мое болит, жжет содранная кожа, горят царапины. Но это все пустяки. А Мика, Мика!.. Гнев закипает во мне, я готов проклинать свое мягкосердечие, но теперь уж поздно.

Ах, Мика, неужели ничего не поправить? Посланная разведка вернулась, сообщила — неприятеля нет поблизости. Эсхил расставил посты, велел отдыхать.

Стреножили коней, засыпали им в торбы ячменя — путь еще предстоит неблизкий. Воины ослабили ремешки лат, сняли шлемы, повалились на траву, и вот уже некоторые храпят как ни в чем не бывало.

Небо светлеет, рассвет недалек. Я вглядываюсь в заострившееся лицо Мики — кажется, что она вот-вот вздохнет в последний раз и...

— Помни, Терей, — выговаривает Эсхил где-то около лошадей. — Подковы необходимо осматривать ежедневно. Некоторые видят — гвоздь ослаб, и машут рукой: а, мол, еще успеется, перекую! А лошадь хромает и портится.

— Да я осматривал, — оправдывается десятник. — А скачка какая была? С кого угодно подковы слетят!

— Теперь нужно бы рассолу, — продолжает Эсхил, — губкой обтереть бы копыто, полить козьим жиром в поврежденном месте.

И тут я не выдержал. И тут я осмелился поднять голос на великого поэта:

— Эсхил, Эсхил! Посмотри, она умирает, а ты говоришь о лошадях, о подковах, о козьем жире! Что нам делать, Эсхил?

Командир подошел, опустился рядом со мной, тихонько дунул девочке в лицо. Ресницы ее при этом затрепетали и по лицу пронеслась слабая тень страдания.

— Видишь? — шепнул мне Эсхил. — Она жива. Жизнь борется в ней со смертью, и мы бессильны ей помочь или помешать. Но будем надеяться на помощь богов.

Он помолчал и продолжал, положив мне руку на плечо:

— Если мы не будем заботиться о копытах, пропадет конница. Пропадет конница — проиграем битву. Проиграем битву — пропадет все. Как видишь, от каждой мелочи зависит судьба великого. А впрочем, все пойдет так, какова будет милость богов.

— А в чем она, эта милость богов? В том, что один от рождения богат и счастлив, а он — изменник и трус. Другой же, может быть, и храбр и доблестен, а он — раб, и всякий может бить его палкой...

Эсхил поднялся, зевнул и сказал примирительно:

— Всякому своя судьба: господину — своя, рабу — своя. Так предначертал Зевс — властитель судеб.

И тогда я осмелился продекламировать ему сочиненные им же строки из «Прометея»:

И содрогнется в страхе Зевс. И будет знать,
Что быть рабом не то, что быть властителем.

По совести сказать, любой афинянин на месте Эсхила угостил бы плеткой глупого раба за дерзость. А Эсхил смутился. Давно я слыхал, что Эсхил только на сцене гремит дерзкими стихами, а в будничной жизни он терпелив, богобоязнен.

— Могут быть, конечно, рабы, — промолвил он, — которые заслуживали бы почетного места среди свободных...

Сердце мое возликовало: я, мальчишка, заставил смутиться и признать мою правоту — и кого? Самого Эсхила, к голосу которого прислушивается вся Эллада!

Теперь бы следовало и помолчать, тем более что Эсхил сделал шаг в сторону, намереваясь удалиться. Но Мика! Ее лицо худело прямо на глазах. Нестерпимая жалость вонзилась в грудь, и я воскликнул:

— Но она-то, она за что страдает? Что сделала она богам, чем повредила людям?

Эсхил погладил бороду. При свете побледневшего неба его глаза стали похожими на два прозрачных кусочка стекла. Он сказал нараспев, как будто декламировал стихи:

— Таков вечный закон: пролитая кровь требует новой крови, зовет мщение, кличет смерть, убийство за убийство.

— Но девочка, девочка, — чем она виновата? Объясни мне, Эсхил, снизойди ко мне, душа моя бродит в потемках лабиринта и за каждым поворотом встречает чудовище.

— А преступления предков? Миф говорит, что древний царь Атрей по ошибке съел человечьего мяса, за это боги карали и детей его, и внуков, и правнуков...

— Но Мика...

— Подожди. Супруга Ксантиппа, мать этой девочки, — племянница Клисфена, любимца черни. Они из рода Алкмеонидов. Сто лет назад Алкмеониды убили в храме одного эвпатрида. С тех пор боги прокляли их род.

— Но я слыхал, что этот эвпатрид сам совершал преступления?

— Неважно, убийство в храме — тяжкий грех. Боги его не прощают.

— Но неужели девочка повинна в том, что творили ее прадеды? Неужели они сами не расплатились своей кровью?

— Капля крови зовет за собой десять капель.

— Но если таков закон богов, то боги твои не боги, а убийцы и негодяи!

Эсхил поднял в ужасе руки; полы его длинного плаща раздулись от предрассветного ветра, — он стал похож на пророка или на громадную летящую птицу.

— Закрой уста, нечестивец! Помни, что рок кует каждому разящий меч его судьбы! Помни, что Зевс не прощает святотатства!

— Ну, если так, — я тоже от волнения вскочил на ноги, — я повторю тебе, Эсхил, слова твоего Прометея: *«Скажу открыто — ненавижу всех богов!»*

— Прометей сам был бог и восставал против бога. Мы же

смертные и должны терпеть ярмо судьбы.

Голос Эсхила смягчился — поэт сочувствовал моему горю; он сказал примирительно:

— А вспомни, может быть, она сама в чем-нибудь провинилась? Хотя бы и в малом... Боги за малое карают великим.

Отец ее необуздан и жесток — может быть, за это страдает дочь? Да и она сама: меня ведь секли на ее глазах, а она и словом меня не защитила, хотя я страдал, в сущности, за нее...

Но нет! Наказывать смертью за это слишком жестоко!

— А все-таки, а все-таки!.. — упрямо повторял я.

Эсхил посмотрел на меня с недоумением и отошел.

Заря зарождалась в зените неба, выступали отчетливые тени. Вот на холме силуэт бессонного Эсхила. Он стоит, опершись на копье, слегка покачиваясь. Вот он, вот он — божественный миг, вот оно вдохновение! В его голове, вероятно, как эта заря из тьмы, из хаоса рождаются строфы:

О доля смертных! С линиями легкими
Рисунка схоже счастье: лишь явись беда —
Оно исчезнет, как под влажной губкою...

Послышался скрип колес, и на поляну, где мы расположились, выехала колесница, взятая, очевидно, в каком-то богатом доме, — она была украшена резьбой и позолотой.

Одновременно прибыл гонец от Фемистокла с приказом разведать, почему враг медлит вступать в опустевшие Афины, что за передвижения совершают персы на Элевсинской равнине? Воины поглядывали с тревогой на лесистые вершины Гиметта, которые им предстояло преодолеть и за которыми их ждали свирепые орды врага.

— Десятник Терей! — распоряжался Эсхил. — Отвези детей Ксантиппа к переправе на Саламин. Через город не ездите, скрывайтесь в окрестных рощах. Вот тебе в помощь Иолай — он будет возницей. А больше дать не могу, каждый на счету. Да, у тебя есть отличный помощник. — Эсхил положил руку мне на плечо. — Рабы не цари, — усмехнулся он. — И богам не за что их карать. Пусть счастье сына рабов спасет гонимую внучку Алкмеонидов.

Осторожно перенесли девочку в колесницу, положили на седельные подушки. Сонный Перикл сел рядом с возницей, уткнулся ему в бок и тут же заснул. Воины повскакали на лошадей, прощались с нами, потрясая копьями.

Эсхил порылся за поясом, достал бисерный кисет, вытряс на ладонь монеты. Выбрал одну, на которой совсем стерся знак совы, подал мне.

Ветер развевал его бороду, он неожиданно ласково улыбнулся. Добрый Эсхил!

— Прости меня, господин... — сказал я голосом, хриплым от чувства неловкости.

— Ты сам не знаешь, малыш, что ты здесь говорил... В твоих речах я услышал отзвуки грядущих безумий!

ТЯЖКАЯ ДОРОГА

Колесница, Терей на коне, мы с нянькой пешком, за нами собака двинулись навстречу утру. Длинные тени быстро укорачивались, в долинах струился пар от высыхающей росы. Колесница без толчков катилась по мягкой дороге; мерно поблескивали спицы ее высоких колес. Мы надеялись пересечь сады и оливковые рощи и обогнуть город с юга. В густых кронах роились осы и пчелы, чувствовался пьяный запах винограда. Мать-осень, радость и изобилие!

И все это обречено мечу и разорению.

Проехали опустевшую деревню, где брошенный теленок мычал на скотном дворе. Солнце начало припекать. Тело мое ныло, голова кружилась, ноги подкашивались.

— Садись позади, — наклонился ко мне Терей со своего гигантского коня.

Но я указал ему на старушку няньку, которая не падала только потому, что брела, держась за борт колесницы. Терей сделал вид, что не понял, ускакал вперед.

— Вот они каковы! — воскликнул возница Иолай. — Правду говорят, что сердце богатого глухо. Садись на мое место, горемычная, держи голову своего питомца. Ишь как спит! А я пройдусь рядом, держа вожжи.

— Что это ты тут проповедуешь? — строго спросил Терей, подъезжая. — На войне все равны — богатые, бедные...

— Нет, не все, свидетель Зевс, не все! У каждой головы своя боль. Они вот, — он показал на няньку и на меня, — ничего от войны не выиграют, ничего не потеряют. Были рабами у афинян, станут рабами у персов. Ты тоже ничего не потеряешь — рабов своих угнал на Саламин, деньги закопал. Победят афиняне — хорошо! Получишь долю из трофея, разбогатеешь пуще прежнего. Победят мидяне (да не допустят боги!) — вернешься в свою усадьбу, выкопаешь имущество. Царю ведь тоже нужны земледельцы. Иначе кто ему будет платить подати?

— А ты, Иолай, разве ты не такой же пахарь, как я?

— Такой, да не такой... Рабов у меня нет, денег зарывать не пришлось. Война вытопчет мой виноградник, сожжет мою хижину. Если еще горб свой надломаю — наверняка пойду милостыню просить у дверей храма.

Они расшумелись так, что Мика застонала и попыталась повернуться. Споры умолкли.

Мы увидели жертвенник Зевса — каменную башню на холме и порыжевшие луга на склонах. Там, за лесом, пролегала

Священная дорога — путь к морю.

На вершинах холмов показались всадники на низеньких конях, в колпаках, с длинными пиками. Всадники покружились и исчезли, а вместо них появились другие и тоже ускакали. Наперерез нам бежали перепуганные, полуодетые люди, кричали:

— Куда вы, куда вы? Там мидяне, поворачивайте назад!

Это были беженцы, которые попали в плен к варварам. Те ограбили их, девушек и мальчиков забрали с собой, а стариков прогнали.

А это кто — трясущийся, потный, весь в кровоподтеках, в грязных лохмотьях? Боги! Да ведь это Агасий из Ахарн, тот самый, который предлагал рабов заковать, тот самый, который был хорегом вместе с Лисией! А! Он хотел перебежать к персам!

— Только по своей глупости, родимые... — стонал Агасий. — Боги меня наказали...

Куда же теперь? Назад пути тоже нет. В лес, в горы! Беженцы с плачем тоже повернули за нами, на всякий случай остерегаясь пса Кефея.

В лесу царил сырой полумрак. Столетние буки и лавры обросли клочьями мха, жесткий терновник язвил голые ноги. Оси невыносимо визжали на поворотах; колесница подскакивала и сотрясалась на корневищах, низкие ветви хлестали по головам.

— Ой, какой дремучий лес! — закричал проснувшийся Перикл. — Надо ехать только по тропинке. В лесу живут дикие сатиры, у которых вместо ног копыта. Они нас могут заманить.

Бедный мальчик! Живые мидяне позади были нам страшнее мифических сатиров.

— Нянька, а мы увидим Пана? — Мальчишеский голос звенел в лесной тиши. — А нимф лесных увидим? Нянька, а почему мы подскакиваем? Смотрите! — вдруг закричал он. — Мика больше не спит!

Я наклонился. Мика блестящими глазами разглядывала лиственный потолок.

— Где мама? — беспокоилась она.

— Мама едет сзади, — солгал я. Но Перикл меня выдал:

— А мама осталась дома! А с нами едет только нянька, и Кефей сзади бежит. Вставай, сестренка, мы сейчас живых сатиров увидим!

Тут Мика узнала меня и прошептала:

— А, это ты, Алкамен... Мальчик, которого высекли... А я все время думала о тебе...

За это тебе спасибо, Мика. Вот он, мой гражданский венок!

Мика забылась. А мы втаскивали колесницу на крутой подъем, руками вращали спицы колес, беженцы подталкивали

сзади; Агасий, засучив рукава, бегал вокруг и подбадривал.

Мика вновь разлепила ресницы:

— Почему мы едем?.. Какая буря, какой ветер... Смотри, Алкамен, кентавры, сколько их! И лошади скачут, и жеребята...

Нянька тихо причитала. Перикл испуганно замолк; возница Иолай погонял свою лошадку. Я наклонился к Мике.

— У тебя нет воображения, театральный мальчик... — шептала она в бреду и повторяла одним дуновением: — Блаженный покой... блаженный покой...

Мы выехали на перевал между вершинами гор. Открылся вид на дугу Элевсинского залива — сверкающая синева! И на лугах множество блестящих на солнце точек.

— Смотрите, смотрите! — закричали беженцы. — Это полчища мидян собираются на равнине! Смотрите, сколько их — до самого горизонта!

К МОРЮ

Спуск оказался труднее, чем подъем. Тропинка петляла по кручам, мы оббили все ноги о камни подо мхом, цепкий граб исхлестал нам лица.

Вот и ручей Кефис струится по каменистому дну, скрывает свои извивы в сочной осоке. Изнеможенные, мы решили отдохнуть в этом тихом уголке.

Все тихо здесь, только ручей шумит на камнях и гудит шмель над цветами. Солнце пронизывает лиственную кровлю, и его лучи падают ослепительными иглами.

Лошадей пустили на травку. Иолай достал хлеба, разломил, подал мне, подал няньке, взял сам, мальчику дал связку копченых рыбок. Терей тоже вынул из вьюков свои запасы. Агасий засматривал ему в глаза, глотая слюну. Терей поделился с ним, считая этого эвпатрида равным себе.

Прочие беженцы отвернулись, чтобы не видеть, как мы едим. Тогда, под неумолимым взглядом возницы Иолая, Терей роздал маслины, лук, сыр, лепешки. Нянька зачерпнула холодной воды, каждому поднесла с поклоном.

Но Терей торопил — вот-вот и этот зеленый рай мог огласиться криками варваров.

— Добрые люди, — сказала нянька, — рана у девочки кровоточит. Так мы ее живую не довезем, мышку мою ненаглядную.

— Что же делать? — Терей в недоумении застегивал ремень шлема.

— Что делать? — засмеялся Иолай. — Э, Терей, здоровый ты, а недогадливый. Когда я был молодым, я нанимался воевать в горной Фокйде. Знаешь, как в горах возят раненых?

Иолай распряг свою лошадку; они с Тереем привязали ее рядом с конем, а между ними соорудили из веток и ремней колыбель, куда и перенесли раненую.

Беженцы не стали ждать нас, разулись, перешли ручей и скрылись в лесу. Иолай стегнул лошадей, и колыбель двинулась, мерно покачиваясь. А мы за оглобли покатили колесницу — на равнине она нам еще пригодится.

Показались просветы — лес кончался. Запахло солью и гнилыми водорослями — море близко. Корневищ и кочек, однако, не уменьшилось. Лошадка Иолая никак не могла попасть в ногу с рослым конем Терея, и через сотню шагов колыбель растрепалась. Тогда воины сделали носилки из плаща и копий и понесли девочку на руках. А мне велели остаться, запрячь колесницу и

догнать.

Как же запрягать? Я — дитя городское и лошадь вблизи видел только у нашего Псоя, когда он возил бочку с водой для полива цветов. Как он запрягал? Кажется, сначала надевал хомут, потом седло, затем застегивал вот эти ремешки... Нет, не эти — вот эти. Слава Посейдону — покровителю лошадей, кажется, запряг.

— Н-но!..

Я стегнул лошадку, и она преспокойно вышла из оглобель, унося на себе сбрую, а я остался сидеть на облучке. Какой позор!

Я догнал лошадь, повел ее обратно к колеснице. Вдруг конь Терея, щипавший травку, вскинулся на дыбы и бешено заржал. Веревочная петля туго охватила его шею и тянула в лес. Сейчас же, гикая и звеня оружием, на поляну выехали всадники с громадными колчанами, в шапках, отороченных мехом. Мидяне!

В последние дни я научился соображать быстро и безошибочно. Я мгновенно понял: побеги я в лес — и меня тут же выловят. Я подбежал к коню Терея, выхватил кинжал, перерезал петлю, вскочил в седло и, прижавшись к гриве, дал коню пинка пятками.

Мы неслись, не разбирая дороги, продираясь сквозь терновник, а степные кони варваров не решились скакать в лесу с такой бешеной скоростью. Умный конь описал большой круг по лесу и выскочил на опушку в том месте, где продвигались носилки с телом Мики.

— Скорей, скорей! — кричал я. — Мидяне сзади! Воины пустились бегом. За носилками семенила нянька; Перикл и собака, играя, бежали вперегонки. Я же гарцевал вокруг, уцепившись за гриву коня, который все храпел и косил глазом.

— Мальчик, а где моя лошадка? — спросил Иолай, не оборачиваясь и не сбавляя шага. — Кинул мою лошадку персам?

— Ладно хныкать, беги быстрей! — понукал его Терей. — Победим — дадут тебе новую лошадку.

— Да-а! — всхлипывал Иолай. — Пропала моя кормилица... Твой-то конь небось уцелел, а он у тебя не один...

Вот и море... Катит приветливые волны. Там, за косыми парусами далеких галер, — Саламин, наше спасение. Но на песке только обломки лодок, гниющие водоросли, вещи, затоптанные в гальку, черепки... И ни души!

— Вперед! — закричал зоркий Терей. — Там, за мысом, какие-то люди и лодка.

Обогнув мысок, мы увидели многовесельную лодку, в которую усаживались какие-то женщины, поднимая подолы богато расшитых платьев.

Однорукий старик поддерживал их, отдавал приказания, суетился.

Ба! Да ведь это Мнесилох, а женщина, которой он помогает сесть в лодку, — жена Фемистокла.

Терей приосанился, вынул черепаховый гребень, причесал подстриженную бороду и, придав себе солидность, пошел просить, чтобы и нас взяли в лодку.

— Ну как же не взять? — всполошился Мнесилох. — Свои ведь люди... Дети Ксантиппа, боевого товарища... Раненая дочь... Ах, какое несчастье!

Но жена Фемистокла недовольно качала пышной, усеянной жемчугами прической:

— Уж и не знаю как... Лодка перегружена. Конечно, детей мы возьмем, но рабы и собака...

Подскакал начальник конной охраны, сопровождавшей семью Фемистокла:

— Прошу побыстрее. Мидяне близко.

Все погрузились. На песке, кроме воинов, остались только мы — нянька, я и пес Кефей, уныло опустивший хвост и уши.

— Да поразит меня молния Зевса! — вскричал Мнесилох и неуклюже стал выкарабкиваться из лодки. — Ведь это Алкамен! Ну конечно, Алкамен! Иди, сынок, в лодку. Лучше останусь я.

Жена Фемистокла, испуганная тем, что защитник, оставленный ее мужем, ее покинет, заявила:

— Нет, нет, еще найдется место. Я велю своей рабыне подвинуться. Иди, мальчик.

Я послал вместо себя няньку, а сам остался, хотя мне очень хотелось плыть вместе с Микой. Старуху не хотели сажать, но Перикл поднял отчаянный крик, и ее пустили. Тогда Терей подхватил меня и посадил в лодку, которую уже отпихнули от берега. Вдвоем с Иолаем они уселись на коня и поскакали туда, где готовился к отплытию последний военный корабль.

САЛАМИН

И правда, лодка погрузилась до самых краев. Перикл плакал и звал Кефея. Пес метался по берегу и уже не лаял — выл от отчаяния.

— Ну как же взять в лодку такую громадную собаку? — рассуждала жена Фемистокла. — Была бы как у меня...

Она достала из-под мышки и показала всем собачонку, которая сучила кривыми ножками и таращила крысьи глазки.

На берег между тем выехали мидяне и пустили нам вдогонку стрелы, которые скользнули в волны за нашей кормой. Тогда пес решился — кинулся в море. Скоро он догнал нас, плыл рядом, перебирая лапами, отфыркивался.

— Бедная собака! — соболезновал Мнесилох. — Ты же не доплывешь слишком далеко плыть!

Мы проплыли мимо черных бортов кораблей. Расплавленная солнцем смола капала в пузырящиеся волны. Из мрачных прорезей в бортах высовывались громадные весла, виднелись лохматые головы гребцов, прикованных к скамейкам, изредка сверкал чей-нибудь злобный глаз.

Воины с высоты палуб показывали на нас пальцами, зубоскалили.

— Гляньте, собака плывет! Посейдон свидетель, это настоящий морской волк! Эй, на лодке, вы что, наперегонки с собакой, что ли?

Бесконечно плыли. Наши гребцы изнемогали, их руки не могли удержать весла, и нас поминутно обдавало холодными брызгами. Кроме того, в заливе оказалась высокая волна; женщин укачало, они стонали, жалуясь на богов. Саламин же оставался по-прежнему туманным и недостижимым.

Маленький Перикл ничего не видел, кроме своего мохнатого друга; пришлось его удерживать, чтобы мальчик не выпал из лодки.

— Ну Кефей, ну собаченька, — заклинал он, — плыви, пожалуйста, не тони...

А пес уже задыхался и понемногу отставал.

И только когда солнце готово было коснуться края моря, мы причалили к плоским скалам Саламина. Встречающие почтительно вывели из лодки жену первого стратега, вынесли детей. Мику взяли на носилки. Я в последний раз наклонился к ней, чтобы увидеть, как вздрагивают лепестки ресниц, но седовласый врач с серебряным обручем на голове отодвинул меня. Несмотря на это, на душе стало легче — все-таки врач!

А Перикл никак не давался няньке — бежал к прибою, звал Кефея. Далеко в золотой чешуе моря виднелась точка, которая медленно приближалась.

— Собака, собака! — кричал народ. — Смотрите, собака!

Кефей выбрался на берег, отряхнулся — брызги во все стороны, шатаясь, направился к мальчику. И, взвизгнув, упал, нелепо вытянув в лапы. Перикл бросился к нему, его еле оттащили. Пес околел.

Спустя много лет, когда Перикл вырос, он повелел воздвигнуть здесь надгробный памятник своему другу.

А в тот вечер песчаные дюны, скалы, пологие холмы острова кишели людьми. Богатые разбили шатры, бедные подстелили плащи, закутались в одеяла. Семья теснилась к семье, община к общине, варили скудную похлебку, ели со слезами. Поймали вора, били и снова плакали от злости и отчаяния.

Мнесилох, сдав семейство стратега, освободился и забрался с другими любопытными на скалу. Полез туда и я — оттуда открывался вид, как с последнего яруса нашего театра Диониса.

Закатное солнце осветило оранжевым заревом покинутый город на том берегу. Хорошо были видны горб Акрополя и другие холмы. Там под лиственными сводами остались палестры и бани, глиняные переулки предместий, фонтаны. Там мы, мальчишки, бывало, вот в такую же чудесную осень ели вязкие ягоды шелковицы, сбивали каштаны, прятались в лопухи, чтобы поплакать от хозяйских пинков.

Далекая-далекая, безвозвратная жизнь!

— Боги не допустят, — рассуждали афиняне, — чтобы погиб этот щедрый город, который выстроил столько храмов и приносил такие обильные жертвы!

А в городе поднимались один за другим столбы дыма.

— Наверное, мидяне уже там и жгут здания, — мрачно сказал бывалый воин.

Все повскакали, начали вглядываться в пожары на том берегу.

— Где это горит? Это, наверное, у нас в Коллитии. Какое пламя!

— Нет, это правее Акрополя, значит, в Лимнах.

— И в Коллитии все равно горит. Там склад пеньки. Он как заполыхает!

Но разглядеть, где именно горит, из-за дальности было невозможно. Наступила ночь, но на смену закату пришло зарево пожара.

— Ишь как разгорается! — вздыхал Мнесилох. — Бывало, ругали трущобы и высмеивали грязные улицы, а теперь сердце пылает вместе с ними!

Мальчишка-оборвыш скакал на палочке и напевал:
— Афины горят, Афины горят!
Тут же получил затрещину и заревел.

И все плакали, воздевая руки. Какая-то женщина в черном хитоне, вероятно наемная плакальщица, рыдала (сегодня уже без платы), рвала на себе одежду, кулаками молотила по голове. Лохматая, страшная, она причитала, словно пела:

— Несу дары скорби к твоему пепелицу, о город! Вместилище счастья, не по тебе ли плачут вороны, о горькая земля! Ногти, царапайте белые щеки, вопли, раздирайте сердце в клочья! Печаль, о-о-о! Печаль!

Все вторили ей, и становилось легче при виде такой театральной и яркой скорби.

Какой-то жрец заколол козленка, которого он привез из Афин. Люди его обступили, вытягивали шеи, напрягали глаза, стараясь разглядеть, как жрец копается во внутренностях — гадает.

— Печень совсем не видна, селезенка синяя, вся в жилках. Плохое, люди, предзнаменование. Горе готовят нам боги!

— Боги готовят горе тем, кто плачет, как женщина, у кого меч вываливается из рук! — раздался мужественный голос.

Фемистокл, окруженный стратегами, шел посредине толпы; отблеск зарева светился у него в глазах.

— Воины, мужи! — восклицал он. — Завтра или умрем, или победим!

Как всегда, единым словом он умел рассеять страхи, вселить надежду.

Мнесилох сразу выдвинулся из толпы, чтобы быть заметным. Вождь улыбнулся ему, расправил свои нахмуренные брови. Мнесилох издали показал подаренный меч; он как бы хотел сказать: я не зря его носил. И Фемистокл понял и помахал ему рукой. Тогда и я поднял над головой кинжальчик Фемистокла, чтобы стратег увидел запекшуюся кровь врагов. Но лицо стратега погасло; он, нахмурясь, заговорил о чем-то с воинами.

Мы с Мнесилохом посетили тихий домик, где среди других раненых стонала Мика.

— Плоха, очень плоха... — жаловалась нянька.

Неужели и врач не поможет? Может быть, прав Эсхил, может быть, нужно безропотно уповать на милость богов? Жрецы учат: если хочешь, чтобы бессмертные были к тебе благосклонны, принеси им в жертву самое дорогое, что у тебя есть. А у меня нет ничего дорогого, да и вообще ничего нет.

Постой, как же! У меня ведь есть вещь, которая для меня бесценна: на шнурке висит оловянный кружочек с буквой «Е», что означает «елевферия» свобода.

Я минуту поколебался — жаль было отдавать память о маме — и тут же осудил себя за колебание. Я подошел к одному из жертвенников, которые во множестве разжигали жрецы, и кинул в угли амулет. Олово размягчалось, буква «Е» оплывала, а я читал молитвы за Мику.

Нашли ночлег, стали укладываться. Мнесилох не утерпел, чтобы не похвастаться:

— Приходил воин, пригласил меня к Фемистоклу: перед рассветом, после третьей стражи.

— А я?

— А ты спи, ночь ведь маялся. Ишь, весь оцарапанный, избитый.

— Мнесилох, заклинаю тебя, возьми меня к Фемистоклу.

— Зачем?

— Увидеть Ксантиппа, рассказать ему о дочери.

— Ты думаешь, ему не рассказали?

— Нет, но Мика просила... Я все равно должен...

— Ну ладно, крепко спи, малыш. После третьей стражи я тебя разбужу.

НОЧЬ ПЕРЕД БИТВОЙ

Ах, как зябко, так и клонит прилечь!

Во тьме мы долго спотыкались о канаты и весла, пока не нащупали сходни, которые вели на «Беллерофонт» — там на палубе был разбит шатер первого стратега.

— Кто идет? — послышался знакомый бас.

Да ведь это Терей! Наш Терей. Он променял сегодня коня на корабельную палубу. Терей приказал воинам осветить наши лица факелами. Мнесилоха пустил, а меня удержал за хитон.

— Э, нет, дружок. Тебя не звали.

— Но, Терей!..

— Не могу, нет приказа тебя впустить. Ты совсем продрог. Возьми-ка лучше эту шерстяную хламиду, завернись.

Кто-то окликнул его, сообщая, что причалила галера с острова Эгина. Терей отошел; другой воин преградил мне путь щитом. Я со злостью ударил в этот щит; воин выронил его и шарил в темноте, боясь, что щит упадет в воду. Я взбежал на палубу. С непривычки я три раза споткнулся о натянутые снасти и набил себе шишку. Воины искали меня среди связок каната и ящиков, а я забился под полог шатра, надеясь там отсидеться.

Когда я успокоился, то различил голоса внутри шатра. Рядом была щель, позволявшая мне все видеть.

На высоком кресле сидел спартанец Эврибиад — верховный главнокомандующий флотом. Спартанец произносил речь:

— Нельзя вступать в бой... Нас разобьют... У них две тысячи кораблей, у нас двести. Пока не наступил рассвет, сажайте народ на корабли — и в Спарту!... Там будем обороняться.

— А как же наш город? — выкрикнул Ксантипп. (Я его сразу и не заметил: он сидел сгорбившись у светильника, как нахохлившаяся птица.) — Так и отдать город без боя?

— Вы свое потеряли, поэтому теперь вы не можете нас понять. Мы хотим сохранить хоть что-то от Эллады, хоть Спарту...

Все раскричались. Что же, значит, Афины уже потеряны? Значит, уйти смирившись?

Эврибиад встал с кресла, брал за руки то одного, то другого, растолковывал спартанский план.

Фемистокл прервал его. Распахнувшийся плащ стратега чуть не погасил светильник.

— Помните, я призвал вас отступать на море, оставить Афины? Теперь довольно отступать! На суше мы были слабее их, на море мы сильнее! Пусть их флот многочисленнее, а наш сильнее!

Эврибиад покраснел, нервно вертел жезл главнокомандующего.

— В открытом море мы не будем нападать, — убеждал Фемистокл. — Заманим в пролив. Здесь персам не развернуться, будем их колотить поодиночке!

— Фемистокл, Фемистокл! — Жезл в руках Эврибиада вращался все быстрее. — На стадионе того, кто до свистка срывается с места, наказывают палками!

— Да, но и тому, кто медлит, наград не дают!

И Фемистокл указал пальцем, кому именно не достанется награда. Эврибиад вышел из себя и замахнулся жезлом на Фемистокла.

— Ого-го! — закричали стратеги, вскакивая. — Зазнался спартанец! Кто бы ты ни был, мы тебе не позволим!..

Но Фемистокл опустил глаза и смиренно приблизился к Эврибиаду:

— Ну, побей меня — твое право. Ты — начальник. Только дозволь утром ударить на врага. Время упустим!

Эврибиад смутился, бормотал извинения, отдал жезл оруженосцу. А Фемистокл продолжал убеждать. Ладонь его сжималась и разжималась, как бы извлекая истины и бросая их в лица слушателям.

— Горит наш город, но мы ушли, чтобы не стать рабами. Уйдем ли мы теперь на чужбину, бросим ли пепелища? Это пламя над городом Паллады радует не только врагов, радует и некоторых союзников. Но рано им радоваться! У нас есть другой город — деревянный, крутобокий, длинновесельный. Пусть нас предают! Мы сами отвоюем себе свободу!

Эврибиад напрасно пытался возражать: его голос тонул в крике афинян. Тогда он объявил, что на рассвете спартанские корабли покинут Саламин, а афиняне пусть как хотят. Тишину обрубил крик. Коринфяне, сикионцы по очереди заявили, что подчиняются приказу главнокомандующего, уходят на рассвете к берегам Пелопоннеса — там будут обороняться.

Военный совет окончился.

— Только бы напали, только бы напали... — сжав зубы, повторял Фемистокл, расхаживая по опустевшему шатру.

— Я здесь, Фемистокл! — напомнил о себе Мнесилох, приютившийся у входа.

Но стратег продолжал шагать и думать...

АРИСТИД

Полог входа откинулся. Кто-то, закутанный в плащ, вошел и остановился. Фемистокл схватил светильник, поднес к лицу вошедшего.

— Аристид?

— Да, Аристид. Я нарушил закон и вернулся. Фемистокл! — страстно воскликнул он. — Накажи меня завтра, но сегодня дозволь сражаться!

Я впервые увидел Фемистокла растерянным. Он подвинул Аристиду скамью, блюдо с жареным мясом и фруктами, но вдруг, как бы спохватившись, откинул скамью ногой, выпрямился перед лицом Аристида.

— Зачем пришел? Ты был против флота, против морского боя, а теперь пришел? Хочешь и в этом случае прослыть справедливым?

Аристид сжал тонкие губы, но отвечал спокойно:

— Не время сводить счеты... Я бы не пришел — крестьяне, эвпатриды, даже многие моряки писали мне: сердце у Фемистокла большое, верим, что боги сделают его благосклонным.

Фемистокл молчал, неслышно ступая по ковру. Аристид продолжал:

— Помнишь, я призывал народ умереть под стенами богини? Вот я и явился умереть под деревянными стенами, которые ты воздвиг на море...

Замолчали. Корабль мелко покачивался на прибрежной зыби; меня ужасно клонило в сон, и я таращил глаза, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного.

— Я на эгинской галере, — рассказывал Аристид, — проскользнул между кораблями мидян. Пролив заперт ими, судов видимо-невидимо. Если бы они первые напали, вот бы их колошматить в узком проливе!..

— Если я прощу, — заговорил Фемистокл, — то не ради тебя... не ради тебя... — И вдруг поднял голову, подошел вплотную к Аристиду: — Как ты говоришь? Кораблей видимо-невидимо? Пролив, говоришь, заперт? Вот это здорово, ха-ха-ха! На рассвете спартанчики, коринфянчики, сикионочки и прочие не смогут улизнуть, и поневоле придется принимать бой. Только бы персы напали первые, — ты угадал мою мысль!.. Ладно, Аристид, — он протянул руку, — будем товарищами в бою. Я готов забыть и убийц, и перебежчиков, и заговорщиков...

— А я — голосование на черепках... — усмехнулся Аристид.

Они снова стояли друг против друга, как кулачные бойцы. Тогда Мнесилох встал, заговорил ворчливо:

— Дозволь мне уйти, Фемистокл. Зачем ты меня звал? Я стар и люблю пуховики на рассвете...

Аристид покосился на него и пожал плечами: перед битвой надо бы совещаться со старцами, с благочестивыми жрецами, а у первого стратега в шатре этот комедиант, базарный шут! О демократия!

Но Фемистокл воодушевился новой мыслью; косматые его брови разлетелись на вдохновенном лице.

— Садись, Аристид, долой старое! Послушай-ка, у меня есть один план, с утра о нем думаю. Скажи, Мнесилох, ты, говорят, был в персидском плену?

В шатер тихо вошел Терей. Он стукался головой о перекладины, крался неуклюже, как слон, которому вдруг захотелось ловить мышей.

— Десять лет, — вздохнув, ответил Мнесилох, — как одно дуновение, пролетели! Перед самым Марафоном вернулся, выкупили родичи.

— Ты не забыл персидский язык?

— Все, что выучивалось в молодости, отчетливо помнится в старости.

— Мог бы ты выдать себя за перса, много лет прожившего в рабстве в Афинах?

Как раз в этот момент Терей нагнулся, и его жилистая рука нашарила меня в складках шатра.

— Вот где ты прячешься, козленок!

Фемистокл привстал, чтобы посмотреть, кого там поймали, и весело захохотал, наблюдая, как меня выводили с позором.

И вот я опять на берегу. Зуб на зуб не попадает, но я от обиды сбросил шерстяную хламиду, которой меня укутали воины; жду возвращения Мнесилоха. Спрашиваю о Ксантиппе, но стража, тоже обидевшаяся, не отвечает:

— Терей! — окликнули с палубы. — Где мальчик?

— Какой мальчик? — отозвался из темноты Терей, как будто здесь мог быть еще какой-нибудь мальчик, кроме меня.

— А вот который пришел со стариком.

— Здесь он, стоит на пристани.

— Давай его сюда, требуют!

И те же руки, которые меня выпроваживали, подняли вновь на палубу и втолкнули в шатер.

— Нет, нет! — говорил Мнесилох. Лицо его было растерянно, он двигал култышкой руки. — Он еще дитя... Дай мне лучше двух матросов.

— Посуди сам, — убеждал его Фемистокл, — кто поверит, что ты бежишь из рабства, если тебя будут сопровождать два здоровенных матроса? А тут вы бежите вдвоем: ты — раб и мальчишка — раб.

— Пожалей ребенка, стратег! — воскликнул старик. — Я готов на смерть, на пытки, а он?!

Меня как молнией осветило. Я все понял.

— И я готов на пытки, и я готов! — закричал я, бросаясь к Фемистоклу.

Тот поглядел на меня, как на незнакомого, усмехнулся:

— «Каждый горшечник бог своих горшков». Вот видишь, Мнесилох, и я умею говорить пословицы. Ну что ж — отправляйтесь!

Он ударил рукояткой меча в бронзовый щит, висевший над входом. Раздался мелодичный звон.

— Жреца!

Явился дежурный жрец, закутанный, как кокон, в белое; с ним вошли три девушки, в прически которых были вплетены крупные розы.

— Прости, стратег! — извинялся жрец, пока девушки раздавали нам молитвенные венки. — На этом скудном острове не нашлось миртового дерева; пришлось венки плести из ветвей маслины.

Жрец расставил двенадцать походных алтарей в честь олимпийцев и на каждый жертвенник кинул в пламя по зернышку фимиама. Одна девушка ему прислуживала, другая играла на флейте, третья перебирала струны форминги маленькой лиры.

Мы стояли, как полагается воинам, навытяжку, опустив увенчанные головы, и нам было грустно от этой тихой музыки, от негромких гимнов жреца, от того, что сейчас мы покинем уютный шатер и пойдем в непроглядную ночь, наполненную брызгами соленой пены, туда, где тетивы всех луков напряжены и все стрелы ждут своих жертв.

— Возвращайся, старик, живи сто лет! — Фемистокл обнял Мнесилоха, а мне взъерошил волосы на голове.

Аристид молча смотрел на эту сцену; тонкие губы его покривились усмешкой. Мне казалось, что я читаю его мысли: «Судьба Афин вручена городскому болтуну и ненадежному мальчишке».

Однако и он тепло простился с нами.

ПЕРЕБЕЖЧИКИ

Зарево все ярче полыхало над Афинами. Плотные капли падали с весел и от пожара казались каплями крови. Я сидел на веслах; грести было тяжело сносило течение. Задул рассветный ветер.

— Видишь, видишь? — указывал Мнесилох. — Да куда ты гладишь, смотри правее! Видишь корабли с косыми парусами? Это египетский отряд персидского флота. А вон финикийцы — вот эти неуклюжие посудины с загнутыми носами, с высокими башнями на корме. А плоские, низкие — это корабли изменников-греков, которые сражаются на стороне царя. Правь к финикийцам. Варваров легче надуть, чем нашего брата-грека.

Я и направился было к позолоченному чудовищному кораблю, украшенному башенками, перилами и балкончиками, с бортов которого свешивались персидские ковры. Однако небольшая ходкая галера, украшенная медными щитами, пересекла нам дорогу, и вот уже с ее бортов над нами свесились насмешливые рожи с клинообразными, типично греческими бородками.

— Эй, путешественники, куда правите?

— Мальчик, что за плешивую красавицу ты везешь? Вели ей, пусть спрячет свои ножки! — Это они намекали на то, что Мнесилох, боясь сырости, заткнул полы своей хламиды за пояс, обнажив кривые волосатые ноги.

Нас подняли на борт.

— Ну, теперь держись, Алкамен, — шепнул мне старик.

И он пустился кривляться, плакался на судьбу, говорил на чудовищной смеси греческого языка с варварским.

— Эй, однорукий, ты краснорожий, как Силен, — насмехались враги.

Галера доставила нас в такое место, где корабли стояли тесно, борт к борту, и с палубы на палубу можно было переходить по перекинутым мосткам. Да, действительно велик был царский флот — даже дух захватывало!

Здесь нас окружили мидяне. Матросы, полуголые, повязанные красными платками или с тюрбанами на головах, отступили, и мы оказались среди бородатых, горбоносых мужей в расшитых золотом одеждах. Тяжелые плащи, затканные жемчугами и алмазами, колыхались на них, как на вешалках.

Важный вельможа восседал под опахалами на золоченом стуле. Его борода, выкрашенная в красный цвет, была тщательно завита в мелкие колечки и покоилась в специальной парчовой сетке.

— Это еще не царь, — шепнул Мнесилох. — Не бойся! Откуда только у Мнесилоха взялись обильные слезы. Сморкаясь в полу хламиды, он кое-как рассказал, что бежал из афинского рабства, в котором провел сорок лет! Поведал, что его настоящее имя Сикйнна, а этот мальчик (он ткнул в меня пальцем) тоже беглый раб, сирота.

Мнесилох повторил свой рассказ на каком-то скрипучем и шипящем, вероятно на персидском, языке; опять заговорил по-гречески.

— Отведите нас к царю! — требовал Мнесилох. — У нас есть что ему рассказать.

Однако краснобородый и бровью не повел. И все кругом оставались такими же непроницаемыми и важными. Мнесилох вконец извелся. Чего уж он им ни рассказывал, как ни врал — они смотрели на него бараньими глазами и, казалось, кого-то ждали.

Наконец гортанный голос что-то прокричал. Все мидяне, кроме краснобородого, повернули головы направо, и оттуда, стуча солдатскими сапогами, появился худой человек со злым, напряженным лицом.

Это был Лисия, бывший перекупщик зерна, бывший хорег, бывший афинянин, а теперь перебежчик и изменник!

— Ха! — закричал он. — Это Сикинна? Это беглый раб? Это шпион, лазутчик Фемистокла, и место ему в петле! Кто же в Афинах его не знает? Зовут его Мнесилох, и живет он объедками с богатых столов. В том числе и я кормил его у себя на кухне.

— Врешь, собака! — сказал Мнесилох. — Я на твой поганый двор шагу не ступал, хоть ты и богаче всех. Насосался крови людской!..

Лисия кинулся на него, хватаясь за меч, но персы-щитоносцы его удержали. Краснобородый что-то заговорил, указывая то на меня, то на Мнесилоха, то на Лисию, потом указал пальцем вдаль. Переводчик объяснил, что по приказу царя царей всех перебежчиков ведено доставлять ему лично, что с нами вместе пусть отправится и Лисия как беспристрастный свидетель.

И та же быстроходная галера доставила нас на берег. Там завязали нам глаза и повели, подталкивая древками копий. Копилась злоба, таился противный страх, но что же делать? Мы молчали. Слышался звон оружия, ругань и восклицания на чужих языках, ржали кони, скрипели оси телег, плакали дети и визжали женщины. Видимо, вдоль всего берега расположилось войско мидян.

Вдруг я почувствовал, что Мнесилох сел на дорогу.

— Ох, — стонал он, — от дурной головы ноги кричат караул! Братцы мидяне, мидянчики-голубчики, не могу больше идти!

Конвоиры чужими голосами переругивались возле нас. Раздался пронзительный голос Лисии:

— Довольно сатира изображать, тут тебе не театр Диониса. Царь царей прикажет тебе поджарить пятки!

— Что ты орешь, будто с осла упал! — тихо сказал ему Мнесилох. — Лучше скажи, понимает ли тут кто-нибудь по-гречески, кроме тебя?

— Нет, никто, — опешил Лисия. — А что?

— Чудесно! — пробормотал Мнесилох, вставая на ноги. — Это мне и нужно было знать.

И воскликнул, обращаясь к невидимому перекупщику:

— Лисия, будь эллином! Будь хоть чуточку греком, чтобы боги Эллады, когда настанет страшный час суда над предателями, могли бы бросить на твою чашу весов хоть крупицу милосердия!

— Что тебе от меня надо, старый хрыч? — недоумевал перекупщик зерна.

— Меня казни, меня предай, но мальчишку спаси. Чем виновато дитя, когда кругом все в огне, все рушится?

— Шагай, шагай! — усмехнулся Лисия. — Не пройдет и часа, как вы оба запоете новую песню в руках опытного палача. Ты, старик, будешь в роли Прометея, а твой малый — он уже однажды выдал меня, — он будет корифеем. Ха-ха-ха!

— А помнишь, Лисия, — вкрадчиво ответил Мнесилох, — как десять лет тому назад после Марафонской битвы неизвестные похитили из ямы сокровища, взятые у персидского царя? Один из

похитителей, я помню, был потом перекупщиком зерна.

— Что это ты вдруг вспомнил? — Голос Лисий дрогнул. — И какое дело царю до сокровищ, украденных у афинян?

— Но афинянам-то они достались от персов! Неужели царю не захочется их вернуть? Вот он и начнет кое-кому поджаривать пятки: сознавайся, мол, куда ты девал мои сокровища?

— О злые демоны! — выругался Лисия. Дорога под нашими ногами стала круто подниматься. Мы спотыкались на острых камнях.

АРТЕМИСИЯ

Послышался женский голос, резкий, как звон металла, и все-таки женственный, приятный:

— Остановитесь! Куда вы ведете старика и мальчика?

— Не мешай нам, женщина, — раздраженно ответил Лисия. — Мы спешим предстать перед светлым ликом царя царей, и нам некогда вести пустые разговоры.

— Что ты, что ты! — зашептал ему кто-то по-гречески. — Не груби нашей госпоже. Ведь это Артемисия, правительница Галикарнасса. Сам царь Ксеркс слушается ее слова. Шевельни она пальцем — твоя голова слетит.

— Развяжите им глаза, — приказала правительница. — Какое зло могут причинить однорукий старик и слабый мальчик?

Перед нами оказалась коренастая женщина на крепких ногах. Лицо ее было густо забелено, губы и ресницы ярко раскрашены. Замысловатые серьги и подвески бренчали при каждом движении. И, несмотря на все эти женские ухищрения, в ее некрасивом лице чувствовалась мужская сила и властность.

Мнесилох, жалобно охая, повторил свою выдумку о том, что он — Сикинна, беглый раб. Я со страхом оглянулся на перекупщика. Лисия молчал, точно у него заклеился рот.

— А что хотел ты высказать царю? — спросила Артемисия.

Мнесилох помедлил, тоже посмотрел на перекупщика и ответил:

— Афиняне думают удрать из пролива, увести свой флот в Спарту. Пусть великий царь нападает, бьет их, режет, крушит! Я, страдавший в рабстве у афинян сорок лет, призываю царя — бей их, гони!

Лисия даже застонал, но не проронил ни слова. Артемисия заговорила с начальником конвоя по-персидски. Тот объяснял ей что-то, поминутно вставляя слово «Лисия».

— Что же ты, Лисия? — обратилась правительница. — Говорят, что ты обличал их как шпионов, а теперь молчишь? Или считаешь зазорным разговаривать с Артемисией, правительницей Галикарнасса?

— Я ошибся, — плачущим голосом сказал Лисия. — Я их знать не знаю да и не хочу знать. Пошли! — закричал он на конвоиров. — Чего расселись? Царь ждет!

Тайком от правительницы он злобно стукнул Мнесилоха в спину.

Артемисия заметила это:

— Ах во-от оно что!

— Пошли, пошли, — подбадривал Лисия. — Царь сам разберется. Он, Ахеменйд, живой бог на земле, пусть-ка сам выудит правду.

Перед тем как нам вновь завязали глаза, я успел заметить, что правительница мимоходом отдала какие-то распоряжения одному из ее свиты.

И вот мы снова поднимаемся на головокружительную высоту; далеко внизу шумит море, волны разбиваются о крутые скалы. Слева от нас — спотыкающиеся шажки перекупщика, справа — тяжелые шаги Артемисии — туп, туп. Она и ходит-то как мужчина! Камешки и песок осыпаются под нашими ногами в пропасть.

— Лисия, эй, Лисия! — кто-то позвал сзади. Шаги изменника замолкли, а мы продолжали двигаться вперед. Вдруг за нами послышался грохот осыпающихся камней и душераздирающий крик, потом все смолкло. Слышалось только, как ударяются внизу падающие камни и равнодушно шумит море.

— Что там случилось? — спросила Артемисия.

— Светлейшая правительница! — доложил запыхавшийся голос. — Случилось большое несчастье. Афинянин, который шел с нами, неловко оступился и упал со скалы в море.

Я невольно потрогал рукой Мнесилоха: нет, старик по-прежнему ковыляет рядом.

— Да будет во всем воля богов! — набожно произнесла Артемисия.

И мы двинулись дальше.

— Старик, старик! — послышался над самым ухом шепот Артемисии. Скажи, афиняне сильны?

— Сегодня увидишь, — кратко ответил Мнесилох.

— Старик, я не верю, что ты беглец... Кто бы ты ни был, Фемистокл, наверное, тебя очень ценит, если послал с такой целью... Ваш народ, наверное, отблагодарит того, кто поможет тебе?

— Да тебе-то какое дело? — сказал с горечью Мнесилох. — Ты подданная царя да и сама могучая правительница великого Галикарнасса. Что тебе наш народ, что тебе наш Фемистокл?

— Я гречанка, гречанка, — шептала Артемисия. — Во мне течет кровь троянских героев... О старик! Как тяжело быть гордой и унижаться, быть свободной и пресмыкаться!

Мы были на самом верху, где свистит в уши и мешает дышать упругий ветер.

— Берегись, старик, среди персов нет дураков, — вдруг с угрозой сказала правительница. — Ты гонишь их в битву, а кто не поймет, что в узком проливе персидскому флоту крышка?

Я вздрогнул и почувствовал, как рядом вздохнул Мнесилох. Пропал наш план! Все провалилось, зря мы погибнем!

— Вас подвергнут мучительной пытке, — продолжала Артемисия, — потом умертвят. Даже для рабства вам не оставят жизни. Готовы ли вы к смерти?

Мы шли по-прежнему быстро, несмотря на то что колени ослабели, хотелось даже броситься с кручи туда, где ласково шумит родное море.

Вот впереди послышался гул приглушенных голосов, как будто впереди был огромный улей. Послышалась команда. С нас сорвали повязки и так швырнули лицом вниз, что я ударился лбом об острый камень. Встать нам не позволили. Мы, лежа на животах, подняли глаза и увидели над собой невысокого черномазого мужчину, над головой которого реяло знамя в виде человекоорла, широко распахнувшего золоченые крылья. Солнце вспыхивало искрами в бриллиантах, украшавших обильно плащи и мантии его свиты. А сам он был в простой одежде, белее мела.

Рядом с нами легла прямо лицом на камни и правительница Артемисия.

— Захочешь яичницы — поцелуешь сковородку, — пробурчал Мнесилох.

Человек в белом не шевелился, как восковой, а чей-то торжественный голос за его спиной произнес персидскую фразу, потом повторил по-гречески:

— Милость царя царей безгранична! Сын богов, воплощение солнца и огня, бессмертный Ахеменид повелевает вам встать и поведать, кто вы и что знаете.

Мы медленно поднялись, но отряхиваться от пыли было страшно; только Артемисия поправила свои звонкие подвески и мизинчиком подвела брови.

Мнесилох громко рассказал, что он — Сикинна, беглый раб,

что ненавидит афинян, что флот эллинов хочет покинуть Саламин.

— Торопись, светлый царь! — воскликнул Мнесилох, закончив свой рассказ. — Солнце уже высоко. Пока ты медлишь, греческие корабли ускользают из пролива к берегам Пелопоннеса!

Он говорил по-персидски, но все, что он говорил, невидимый голос тут же повторял по-гречески, вероятно, для изменников-греков, которых здесь было много среди придворных, — их сразу можно было узнать по ионийским удлиненным шлемам.

Из рядов придворных выступил седоватый муж и повалился ниц на камни. Точно так же, как и нам, голос глашатая от имени царя царей повелел ему встать и говорить.

— Не слушай их, божественный! — Придворный энергичными жестами обращался то к царю, то к нам. — Не может наш флот войти в эту мышеловку. Со вчерашнего дня я пытаюсь убедить твоих полководцев, что затевать здесь сражение безумно.

В продолжение беседы и царь и придворные стояли совершенно неподвижно, ни один мускул на их лицах не дрогнул. У меня промелькнула озорная мысль: а что, если под одеждами их кусают блохи? Сколько терпения нужно, сколько выдержки, чтобы стоять как вкопанные!

Только голос невидимого глашатая казался единственно живым в этом окаменении. Он неутомимо повторял слова говоривших то по-персидски, то по-гречески. Говорила Артемисия:

— Тебе ли, царь, бояться? У тебя тысяча кораблей, они как орешки расщелкают двести афинских дырявых посудин. Подумай, какая добыча уходит! Уходит именно из мышеловки, как правильно назвал пролив твой благороднейший и мудрейший советник. Упустишь сейчас афинян — ищи потом ветра в поле! К тому же по твоему повелению на этой скале воздвигли золотой трон с тем, чтобы, как в театре, ты мог наблюдать великое побоище и позорище афинян.

Раззолоченные придворные одобрительно загудели.

Седовласый придворный протянул руку, хотел возразить, но медлительный голос глашатая объявил, что царь выслушал, царь примет решение.

Прежде чем нас увели, мы оглядели с площадки скалы открывшийся перед нами мир. Далеко внизу на палубах пели медные рожки, на мачты ползли хвостатые вымпелы — царские корабли сигналили друг другу. А там, на горизонте, — темный Саламин и скучившиеся возле него низкие серые афинские суда.

Прибежал богато одетый мидянин, распорядился. Нас отвели

в обширную ложбину. Здесь было приготовлено множество кнутов, кандалов, канатов, веревочных жгутов — все это для афинян, которых в этот день персы собирались взять в плен. Суетились палачи, кузнецы, надсмотрщики.

Приковылял главный палач — одноглазый, сгорбленный, длиннорукий, как спрут. Он заботливо усадил Мнесилоха на колоду, надел ему на ноги веревочный жгут и, деловито пыхтя, принялся крутить. Выражавшее терпение лицо Мнесилоха вдруг исказилось, и он заскрежетал зубами.

— Признавайся царю! — приказал Мнесилоху мидянин.

Мне хотелось крикнуть, что афиняне плюют на царей, но я понимал, что сейчас нужно молчать, молчать изо всех сил. И Мнесилох молчал и корчился от пытки.

Тогда я не вытерпел — задрожал от соболезнования, заорал, закричал что было силы.

— Эх, ты! — сказал мне со стоном Мнесилох. А другой палач ударил меня кончиком кнута.

— Стойте! — Это явилась Артемисия. — Царь царей приказал немедленно заключить этих перебежчиков в корабельную тюрьму. Освободите старика. Скорей!

Палачи отступили.

— А ты, царский слуга, — обратилась она к мидянину, — ступай доложи сыну богов, что, несмотря на пытки, перебежчики настаивают на своем.

Мидянин недоверчиво проворчал, помедлил, но отправился.

Нас окружили воины Артемисии в хвостатых греческих шлемах; ослабевшего Мнесилоха подхватили под руки и повели.

Но почему нас ведут крадучись, бегом, почему Артемисия торопит с тревогой: «Скорей, скорей!»?

МЯТЕЖНИКИ

И вот мы заперты в каморке на корме корабля. Каморка медленно поднимается и опускается; пустой кувшин перекатывается из угла в угол. Скрипит, двигается, стонет деревянное чрево корабля. В зарешеченное окошко видно, как взлетает зеленая волна и плескается к нам в окошко, а у каждого из нас тошнота притаилась в горле и голова мутится.

Куда плывет корабль Артемисии, мы не знаем, чувствуем только, что идет полным ходом и что весь персидский флот к середине дня пришел в движение.

Слышны мерные постукивания молотка, которым отбивают такт гребцам, чтобы они равномерно двигали веслами; скрипят уключины, и рабы поют негромко и протяжно, не заглушая шорох волн о деревянные борта.

— Эй, лягушонок! — Мнесилох так и впился в зарешеченное окошечко. — У тебя глаза прыткие. Разгляди-ка — мне против солнца не видать, — куда движутся вон те громоздкие корабли?

— Эти, с раскрашенными башенками и медными таранами?

— Да, да, эти.

— Налево. Они плывут налево.

— А что там налево? Смотри, Алкамен, смотри зорче, что там?

— Что там? А там пролив Саламина. Ясно вижу этот пролив. О Мнесилох, Мнесилох! Весь царский флот движется туда. Боги милостивые, как их много!

Мнесилох, услышав это, возвеселился:

— Слава тебе, Посейдон — повелитель волны! Как только все встанет на свои места, я принесу тебе хорошую жертву.

И, так как страх за афинян заставил меня горевать, Мнесилох ухватил мою голову, сунул себе под мышку и принялся гладить меня по плечам, — это означало у него ласку.

— Радуйся, Алкамен! Теперь, если даже и умрем, мы умрем недаром! А впрочем, зачем нам умирать? Море блистает, солнышко горячо. Стоит ли умирать? Раз уж нас не убили сразу, значит, мы еще нужны. Не кажется ли тебе подозрительным, что нас слишком поспешно увели от палача? И не кажется ли тебе подозрительным, что корабль Артемисии, на котором мы с тобой сидим, так быстро уходит, даже, вернее, удирает от царского флота? Не похоже ли все это на то, что у царя украли его пленников? А, Алкамен? Недаром эта чуть было не сказал: размалеванная старуха, нет, нет, достойнейшая правительница, — недаром она так выспрашивала, любит ли меня Фемистокл. Не

хочет ли она сберечь нас как выкуп для себя: а вдруг да победят афиняне? Уж эти азиатские греки — знаю я их — хитры, как бестии. — И старик окинул взглядом каморку, ища, где бы приютиться всхрапнуть. — Если так, беззаботно рассуждал он, — остается положиться на волю бессмертных. Ох уж эти галикарнасские скупердяи! Хоть бы тюфячок бросили, старые кости покоить. Ну что поделаешь: кто играет с кошкой, должен сносить царапины!

Мнесилох часть одежд подстелил, другими одеждами укрылся и сделался похож на нахохлившуюся наседку. Вздохнул, укутывая ноги.

— Залетел воробей в кувшин винца испить, там его и закупорили!

Лежит, смирился с тем, что везут неизвестно куда, может быть, в новое рабство, утешается пословицами! А у меня во всем теле зудит нетерпение хоть как-нибудь выбраться из этой тюрьмы! Вот окошко. Конечно, взрослый не пролезет, но такой худенький мальчик, как я... К тому же и решетка качается. Э, да тут совсем ржавые гвозди!

— Мнесилох, давай я выпрыгну в это окошко! Поплыву к Фемистоклу, расскажу, что ты на корабле галикарнассцев, — он тебя освободит. Я плаваю, как головастик.

— Ложись и молчи. У Фемистокла много других забот. Да ты и не доплывешь — гляди, какая волна расходилась, а до берега далеко. Пристукнут тебя веслом по голове — и конец.

— Но, Мнесилох...

— Молчи! Я твой командир. Я приказываю: ложись и спи. Кто знает, что еще предстоит, а мы не спали ночь.

И правда, глаза набрякли сном, отяжелели, но нетерпение стало сильнее. Я всматривался за окно и вдруг увидел близкие корабли, услышал крики, хриплые и отчаянные. Там шло сражение! Прямо перед моими глазами афинский корабль проткнул тараном борт финикийского и оба накренились, черпая бортами воду. Затем вся картина скрылась от меня зеленой стеной волны.

А Мнесилох спит себе преспокойно, свист издает и храпы испускает. Ну как он может спать, когда кругом идет сражение?

Я стал дергать и крутить гвозди, державшие решетку окна. Два гвоздя вывалились легко из трухлявого дерева, с третьим пришлось повозиться, — я даже раскровенил себе палец. Зато четвертый не давался никак. Пришлось отгибать решетку, наваливаться на нее всем телом. Нет, никак! Вдруг корабль провалился, будто в какую яму. Меня ударило теменем о балку, так что в глазах у меня померкло.

Но эта же волна сослужила мне службу — она сорвала решетку, висевшую на гвозде. Путь наружу свободен!

Донеслись хриплые вопли трубы, шум волны, влетели соленые брызги. Надо было торопиться, пока вода не натечет и не разбудит старика. Я пролез в окно, раздирая хитон, — и вот уже я за бортом.

С корабля не заметили, что я упал в воду. Я сначала погрузился, потом выплыл и еле-еле шевелил руками и ногами, экономя силы, стараясь только держаться. Корабль Артемисии, подставив паруса попутному ветру, ударяя веслами, удалялся, а на некотором расстоянии от него косым строем шли еще четыре галикарнасских корабля. Артемисия бежит с поля сражения!

Я повернулся в другую сторону. Прямо передо мной накренился, погрузив корму, подбитый афинский корабль. Команда покинула его, добралась на лодке до саламинского берега. Корабль медленно вращался в волнах и постепенно погружался. Слышались рев и проклятия: прикованные гребцы не могли покинуть трюм, вода их заливала.

Я напряг усилия, чтобы отплыть как можно дальше, — при погружении корабля может затянуть и меня.

Но тут я услышал свое имя. Кто-то настойчиво звал меня:

— Алкамен, Алкамен!

Что это? Наваждение? Кто может звать меня в проливе?

— Алкамен! Да взгляни сюда, здесь мы, в этом разбитом корабле!

Да, да! Знакомый голос рыжего скифа Медведя доносился из черной пасти отверстия для весла.

— Здесь все наши, храмовые, — и Псой-садовник, и Зубило, и Жернов... Полезай на палубу, голубчик, может быть, они обронили ключи от замков, или подай нам топор, меч, кувалду — все, что угодно, только чтобы разбить цепи. Алкамен, неужели ты нас покинешь?

Ну конечно, я не покину! С борта свешивалась веревочная лестница, по которой спасся экипаж. Мгновение — и я уже наверху. Правда, палуба накренилась так, что по ней трудно взбегать. Но вот валяется и топор, а вот и мечей целых три. Я кидаю все это в люк трюма. Оттуда доносится восторженный вопль и лязг разбиваемых цепей. Вскоре рядом со мной на палубе и Медведь, и Зубило, и Псой, и все остальные.

Медведь показал громадный кулачище холмистому зеленому берегу Саламина.

— Галера, к нам идет галера! — закричали рабы. Действительно, от Саламина приближалась небольшая галера, наверное, затем, чтобы взять накренившийся корабль на буксир.

— Все вниз! — заорал Медведь. — Всем спрятаться! Хватайте мечи, ножи, топоры, молотки — кто что найдет.

— Как? — спросил я с ужасом. — Ты хочешь напасть на своих, на афинян?

— Это тебе они свои, — захохотал великан, заставляя меня спрятаться за палубную надстройку, — а мне они вот где «свои». — Он показал мне руки, на которых были кровавые язвы от сбитых цепей.

Что мог я возразить?

Галера стукнулась о борт нашего корабля. На палубу вскарабкались двое корабельщиков, стали накручивать канат, закреплять буксир.

— А-ррр! — страшно закричал Медведь.

Наверное, так кричит в его родных лесах какое-нибудь чудовище.

Рабы выскочили из люков, выпрыгнули из отверстий для весел, посыпались в галеру, били и сталкивали в воду ошеломленных моряков. Вскоре галера была в руках мятежников. Они кричали, целовались от радости, и полуденное солнце жарко обнимало их голые плечи и торсы.

— На весла! Уж если мы напрягались в цепях, так приналяжем ради свободы!

Что делать? И я был с ними — не погибать же мне вместе с тонущим кораблем. Однако, когда мы огибали Саламин, чтобы выйти в открытое море, я твердо заявил, что покину их галеру и поплыву на остров.

Там, на Саламине, раненая Мика ждала, что я приведу к ней отца, оттуда нужно послать погоню, чтобы освободить Мнесилоха, там Фемистокл надеялся на мою верность и отвагу.

— Вы поглядите на этого афинянина! — издевался Медведь. — Там его ждут поместья, гражданский венок и красавица невеста! Ты бывал когда-нибудь на кладбище возле Академии? На этом кладбище есть надгробная плита в честь рабов, которые в юности оказали услугу на войне, а в старости по постановлению народного собрания они получили надгробный памятник. Ты слышишь? На свободу их не отпустили — только памятник воздвигли!

— Оставь его, Медведь, — вмешался Псой. — Кому дорога своя свобода, должен уважать свободу других.

— Прощай, внук ящерицы. — Медведь обнял меня и так прижал к рыжей груди, что у меня дыхание остановилось. — Прощай, да пошлют тебе счастье боги!

Рабы ласково мне улыбались, а многие утирали слезы.

Я выпрыгнул и поплыл к берегу. Видя, что плыть мне

осталось недалеко, я обернулся. Галера быстро уходила, разрезая прозрачные волны и пенистые гребешки. Никто из афинян, занятых боем, не помчался за ней в погоню. Быть может, им и удастся добраться до острова Крит, где беглых рабов не выдают греческим городам.

В последний раз я оглянулся на дружеские лица, кивавшие мне из неразличимого далека.

ОСТРОВ ПСИТТАЛИЯ

Как Фемистокл рассчитывал, так и случилось, — персы, опасаясь, что афиняне уклонятся от боя и ускользнут, с двух сторон двинулись в пролив, сжимая в тиски их корабли. Но биться широким фронтом персы не могли из-за узости пролива.

Расчет Фемистокла был верен: солнце слепило глаза нападающему врагу, лобовой ветер расстраивал ряды его кораблей.

Афиняне разбивали, брали на абордаж, жгли ряд за рядом, затем налетали новые ряды, и начиналось все сначала.

В воздухе стоял стон от ругательств, проклятий, слов команды, предсмертных криков. Море клокотало, в волнах болтались обломки, весла, бочки.

Мидяне высадили десант на песчаном островке Пситталии, энергично подвозили подкрепления, хотели оттуда рвануться дальше — на Саламин.

Аристид взошел на корабль, где на мостике сидел худосочный спартанец Эврибиад, надувшись, как жаба. Еще бы, ему против воли пришлось разрешить сражение!

— Дозволь, я высажусь на островке и выбью оттуда мидян. — Лицо Аристида было бледным, как никогда, а тонкие губы побелели от напряжения.

Эврибиад для вида помедлил, потом украдкой взглянул на Фемистокла, который стоял рядом, скрестив руки. Фемистокл еле заметно наклонил голову, и Эврибиад милостиво позволил Аристиду вступить в бой.

Аристид и триста гоплитов по мелководью перебежали на Пситталию и напали на ошеломленных мидян. Те яростно защищались. Развевающийся плащ Аристида со знаменитыми заплатками мелькал тут и там. Одно время всем показалось, что атака отбита, что шлем Аристида уже не виден в гуще сражающихся. Однако вот он появился на самом берегу. В руке его было древко с вражеским знаменем — позолоченный человекоорел с широко распахнутыми крыльями.

Радостно закричали афиняне, смотревшие на битву со скал Саламина; стали прыгать, кидать в воздух шапки.

Казалось, с неба донесся мощный глас богов, напоминающий звучную речь Эсхила:

Вперед, сыны Эллады! Спасайте родину, спасайте жен,
Детей своих, богов отцовских храмы,
Гробницы предков: бой теперь за всё!

Между тем к Пситталии со стороны персов мчался тяжелый корабль с десантом. Ярко блестели на солнце золотые латы — это шли в бой «бессмертные» — личная гвардия царя. Афинская триера преградила кораблю персов путь — «Беллерофонт», флагманский корабль Ксантиппа. Персы не смогли остановить

разогнавшийся тяжелый корабль, и он ударился бортом о борт «Беллерофонта». Гигантские весла ломались, как лучинки, с палуб от удара посыпались в воду люди.

На крутом носу «Беллерофонта» появился маленький, страшный, с растрепанной бородой Ксантипп. Глотка его была разверста — он не то командовал, не то изрыгал проклятия. Он метнул железный крюк и зацепил им борт вражеского судна. В тот же момент еще несколько крюков впилось в деревянное тело корабля. Персы рубили мечами железо крюков, надеясь освободиться от этих страшных когтей, — не тут-то было!

Видя, что Ксантипп около Пситталии, зная, что Фемистокл тоже направляется туда, я кинулся вброд вслед за гоплитами, бежавшими в подкрепление. Вода мне здесь доходила до горла. Раза два, поскользнувшись на камнях, я принимался плыть. Навстречу толкали плоты с ранеными; на одном плоту сидел горбоносый врач с серебряным обручем на седоватых волосах, тот самый, что взялся лечить Мику. Я было кинулся к нему, как меня оттолкнули:

— Позволь, позволь!

Отряд гоплитов с напряженными лицами, буруня воду, бежал на Пситталию.

— Что, парень? — ехидно крикнул мне замыкающий строй гоплит. — Хвостом виляешь, бежишь обратно?

И я побежал на Пситталию.

Там Аристид и Ксантипп улыбались, пожимали друг другу руки; оруженосцы подали им полотенца, и стратеги утирали пот и грязь.

Воины собирали трофеи, стаскивали вражеские знамена, раскладывали походный алтарь Зевса — Носителя Побед, которому нужно было на скорую руку принести благодарственную жертву.

Ксантипп узнал меня издали, кивнул, шагнул ко мне, протягивая руки. Я остановился, удивленный этой приветливостью.

«Господин, — хотел я сказать, — твоя дочь Аристомаха... Мика...» Волнение сжало мне горло. Ксантипп меня опередил:

— Мне рассказали все. — На лицо его набежала тень, как будто свет солнца для него померк. — А Мика умерла.

Мне только что сообщили...

Теперь и для меня полуденное небо показалось черным, как тирский бархат.

Ксантипп наклонился, прижался к моему лицу всеми своими родинками и бородавками, и мы горевали вдвоем, на глазах у скорбных воинов.

Подвели пленных. Впереди шли, не смея поднять глаз, как нашкодившие ребята, двое молодых бородатых мидян в серебряных одеждах, затканных золотыми и красными цветами.

— Племянники самого царя! — шепнул грек-переводчик из числа пленных, который юлил возле Аристида и Ксантиппа, желая выслужиться перед новыми господами.

Аристид махнул рукой, приказывая, чтобы пленных увели, но Ксантипп удержал его руку. Глаза Ксантиппа горели, ноздри раздувались от гнева.

— Прости, Аристид, эти пленные принадлежат мне. Я взял их корабль в честном бою.

Аристид пожал плечами, как будто отвечая: мне-то что за дело! Все ждали от Ксантиппа необыкновенных действий.

Обернувшись, он простер руки к походному алтарю Зевса, где жрецы разжигали священное пламя.

— Эй, подайте мне жертвенный топор!

Старый жрец подал требуемое и разинул рот от изумления, угадав намерение Ксантиппа. Даже самые суровые воины застыли в ужасе: ведь человеческие жертвоприношения в Элладе не повторялись с баснословных времен!

Но уже столько крови пролилось в тот день, что никто не стал перечить победителю. Только некоторые отошли в сторону или отвернулись.

Ксантипп, как того требовал обычай, замотал голову плащом, подбросил топор, как бы пробуя его вес, и схватил за курчавые волосы стоявшего впереди мидянина. Лицо Ксантиппа стало ужасным, как лик змееволосой Медузы, изображаемый на стенах храмов.

Тот, кого он схватил за волосы, выхватил из-за пазухи детскую погремушку на золотой цепочке, самую обыкновенную костяную погремушку, которая стоит два обола и которой забавляют своих детей и нищий и вельможа. Мидянин поцеловал эту погремушку, лопотал какие-то смешные слова, а другие, несмотря на свою солидность, закрыли глаза ладонями и заплакали тонкими голосами.

Ветер переменился. Хлопали паруса, слышалась громкая команда. Море стало с грохотом накатывать пенистые валы и выбрасывать на берег обломки и утопленников. Там, на афинском берегу, высоко на скале сияла нестерпимым светом золотая точка: это царь Ахеменид, восседая на троне, наблюдал за ходом морского сражения.

Если вы развернете свиток Эсхила, вы прочтете там волнующие строки, которые он написал спустя много лет после этого памятного дня.

Погибло много: камнями побитые
С пращей ременных, стрелами пронзенные,
Летящими со свистом с тетивы тугой.
Но, наконец, одним отважным приступом
Ворвались. Рубят... истребляют, бьют,
Пока у всех дыханья не похитили.
И застонал, увидев дно страданий, Ксеркс,
На крутояре, над заливом, трон царя
Стоял. Оттуда он глядел на войско все.
Порвав одежды, Ксеркс вопил пронзительно,
Отдал приказ поспешный войску пешему
И в гиблом бегстве потерялся.

Солнце приближалось к закату и припекало ужасающе. Это был час, когда афиняне, привыкшие к лени, вкушают обеденный сон.

Воины угостили меня лепешками, рыбой, мочеными яблоками, дали глоток воды, как настоящему воину, и меня разморило. Бессилие парализовало мои руки и ноги. Еще бы — ведь я почти не спал последние три ночи, держался одним возбуждением.

И я лег среди поверженных .знамен, среди разбросанного оружия, среди неубранных убитых, но заснуть не мог от душевного напряжения.

Гремели трубы, народ с радостными кликами бежал навстречу победителям. С корабля сошел Фемистокл, с ним вожди демократии. Медленно шли, разговаривая со встречными воинами, ободряя раненых беженцев. Надо бы встать, идти им навстречу, но сил нет встать. Вот они остановились надо мной, и из свиты стратега выдвинулся Мнесилох.

Как? И он жив и невредим? Да, да, вот он улыбается и единственной рукой расправляет бороду, словно говоря: «Вертелся, крутился и к вам прикатился».

— Что это? — спрашивает Фемистокл. — Этот мальчик тоже убит?

— Нет, — отвечают воины. — Он не спал три ночи. Это очень храбрый мальчик.

Фемистокл, прищурившись, бросает на меня свой обычный иронический взгляд: «Да, да, мол, знаем, как он бежал с корабля, оставив товарища, нарушив воинскую дисциплину».

— Но он же не знал, — говорит мне в оправдание добрый

Мнесилох, — что Артемисия решила перейти на сторону афинян.

А вот и сама Артемисия — шагает слегка враскачку, как ходят моряки; звенят ее многочисленные подвески, и дума прорезала морщиной ее крупное, мужское лицо.

Бронзовый рев труб становится все нестерпимей; колышется пурпурный дракон на мачте «Беллерофонта», слышится дружный крик афинян, которые преследуют разбегающийся флот царя царей.

АФИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Через два года я вернулся с войны. Я очень важничал, раздумывал, не отпустить ли мне усы и бородку, чтобы быть похожим на Фемистокла или Ксантиппа.

Город лежал грудой развалин — на целые кварталы растянулись обгорелые остатки стен, поля щебня и бурьяна. Жители ютились в шалашах и палатках, но уже высились строительные леса, дымились кучи извести; тысячи новых рабов из числа военнопленных трудились в каменоломнях, добывая материал для возведения беломраморных Афин.

Теперь я бестрепетно расхаживаю по рынку возле рядов, где торгуют рабами. Рабов так много, что для них устроили особый рынок, и там поминутно выводят на камень продажи то стыдливую персиянку, то мускулистого фракийца, то грустного ионийца-ремесленника. Рынок выплеснулся за ограду, шумел в улицах и переулках, казалось, что все в Афинах кинулись очертя голову торговать — менять, продавать, покупать, наживаться.

— Благородные и щедрые! — слышится елейный голос. — Мужи афиняне! Взгляните на этого раба. Ай-ай-яй, какие мышцы, какая грудь! Вот истинный Геракл, клянусь богами! Ай-ай-яй!

И работорговец восторженно цокал языком. Меня даже бросило в жар: да ведь это мои старые знакомые — лидиец и египтянин! Судя по их благородным посохам и белой одежде, они приобрели себе почетные права и теперь торгуют безбоязненно на рынке.

Я постарался встретиться взглядом с египтянином. В его узких глазах, красноватых, как кремень, не отразилось ни удивления, ни страха. «Ты ступай своей дорогой, парень, — как бы говорили эти глаза, — у тебя своя дорога, у нас своя».

Есть харчевня возле Акрополя, где поэтичный Илисс струит голубоватые воды по плоским камням долины.

Я пригласил туда Мнесилоха, который совсем одряхлел и почти ослеп. Тонконогая девочка-найденыш, которую старик назвал Микой, водит его теперь в Пританей бесплатно обедать — единственная награда за участие в войне.

Мы возлегли на свежем воздухе, где тень платана похожа на черное вдовье кружево. Нам подали мелкую рыбу, зажаренную в сухарях, салат из маслин, медовую дыню. Маленькая Мика сосредоточенно лакомилась финиками.

— Пища богов! — вздыхал Мнесилох, обсасывая беззубым ртом ломтик дыни. Он стал дряхл, и никто уже не приглашает его попировать, поразвлечь хозяев, переночевать...

— Пейте, ешьте! — потчевал я. — Алкамен теперь богат. Оказывается, боги есть. После стольких мытарств они наконец сделали Алкамена человеком.

— Ох, — шепелявил Мнесилох, — лучше иметь чистое сердце, чем полный кошелек.

— Не бубни, старик. После битвы при Микале сам лавровенчанный Ксантипп уделил мне долю из добычи, отнятой у персов.

— А Килик? Ведь Килик жив и верховодит храмом. А народное собрание приняло закон, чтобы всех рабов, разбежавшихся во время войны, возвращать прежним хозяевам.

— Но я же не просто сбежал, я воевал и имею награды. Что ты, Мнесилох, чепуху болтаешь? А помнишь, как ты укрощал Килика одним упоминанием о сокровищах, похищенных при Марафоне? Нельзя ли как-нибудь выяснить дело с тем, чтобы Килика сразить окончательно?

— Кто же после Саламина, Платой и Микале помнит о Марафоне? Да и Мнесилох уже стар, не способен возвысить голос в народном собрании. А дряхлого льва и муха обидит. Впрочем, сынок, конечно, я помогу тебе всем, что будет в моих слабых силах. Лучшее ведь, что есть у человека, — это верный друг.

Э, Мнесилох, теперь утешай не утешай, а испортил настроение человеку. Я гладил по голове маленькую Мику; она укачивала первую в своей жизни куклу, которую я привез ей из Милета. А ведь правда, как я упустил из расчетов Килика?

— Что же ты теперь? — промолвил Мнесилох. — Торговлю откроешь или заведешь мастерскую? Или, быть может, останешься во флоте?

— Ну нет, я навоевался, хватит с меня! Торговля, мастерская — это тоже не по мне. У меня иные планы. Пока я о них умолчу; надеюсь, что Фемистокл, Ксантипп и другие демократы мне помогут.

Сгорбленный нищий, опираясь на костыль, просил милостыню. Слуга стал гнать его, размахивая салфеткой, но Мнесилох вынул медную монетку и дал нищему, а я кинул серебряную.

И вдруг я вспомнил: хитро прищуренные крестьянские глаза, лицо, выдубленное ветрами и солнцем под цвет каштана... Да ведь это Иолай, тот самый, который когда-то вез раненую Мику через Эгалейские пущи!

— Иолай, это ты? Ты меня не узнаешь? Что с тобой случилось, старый товарищ?

— Не узнаю, не узнаю... — бормотал Иолай, торопясь уйти; видимо, ему не нравилось, когда его узнавали старые знакомые.

— Да ведь это я, Алкамен. Помнишь, мальчик, который дрался с варварами в ночь перед Саламинской битвой. Помнишь, как ты вез в колеснице раненую девочку и потом конь твой пропал?

Лицо нищего замкнулось в сеть морщин. Казалось, он соображает, выгодно или невыгодно признавать.

— Да, да, отважный мальчик, бедная девочка. Трудно признать, конечно... Годы прошли... Такой красивый, видный юноша стал, настоящий господин...

— Ну хватит, старик, дурака валять, — прервал я. — Раб, налей чашу и подай этому человеку.

Слуга, не скрывая презрения, подал. Иолай не стал отказываться, выпил единым духом, высморкался, стал разговорчивым:

— Помнишь, я говорил тогда? Так и вышло: дом сожгли, виноградник вытоптали, лошадь пропала, семья разбрелась.

— Разве тебе город ничего не выделил из трофеев?

— Нет, ну как же, зачем гневить богов? Дали денег на постройку нового дома, дали даже раба из мидян, слава Фемистоклу! Но виноградник и сад не вырастишь за один год, а жить чем-то надо! Хорошо соседу моему Терею. Помнишь, здоровый такой был малый? Он и золото припрятал, и рабов сохранил, и новых пригнал. Взялся за торговлю, винодельню открыл. Занял я у него раз, занял два — запутался в долгах. Выгнал он меня из моего домика — даром что я ему родич и сосед... Вот и хожу.

Прикрываясь от солнца заскорузлой ладонью, Иолай жаловался на неурожаи, на болезни, на засилье богачей, на питьевую воду, которая вдруг стала кислой, и на соль, которая стала пресной.

— А девочка та, помнишь? — разливался он. — Наверное, слава Артемиде, жива и здорова? Наверное, невестой твоей стала, зря ли ты о ней заботился?..

Что-то в его облике стало льстивое и противное. Это был новый тип городского прихлебателя — не такой, как прежний Мнесилох, насмешливый и независимый, а новый — жадный и заискивающий перед сильными.

— Ты бы, друг Алкамен, пожертвовал еще серебряную тетрадрахму — я бы за ваше счастье жертвы бы приносил, курения бы жег.

Я не слушал его. Тень печали пронеслась передо мной и на мгновение заслонила солнечно-синий, радостный день.

— Вызови носилки, — приказал я слуге харчевни. Я хотел прокатить старика Мнесилоха. После войны появились у нас в

Афинах дельцы, которые сдавали внаем носилки.

Мы уселись. Старик нарочито охал, когда мы его подсаживали. Уж очень хотелось ему показать всем присутствующим: вот, мол, как заботится о нем его приемный сын! Пока мы колыхались под плотным пологом в полумраке и прохладе, я смотрел на видневшуюся в прорези шею одного из рабов, несущих носилки. По ней катились крупные капли пота, мускулы вздулись и изнемогали от напряжения. В этой же прорези виделся залитый светом, утопающий в зелени город, и мне было радостно оттого, что солнце, оттого, что звенят деньги, оттого, что впереди свобода и длинная интересная жизнь.

Вот некрополь — город мертвых. За вереницей скорбных кипарисов глухая стена, и там под навесом листвы — памятники, плиты, надгробия, урны.

Могила Мики видна издали — она стоит на холме. Это плита, на которой искусно изваяна девушка, примеряющая ожерелье.

— Мнесилох, останьтесь тут с девочкой. — Я стал подниматься, захватив с собой охапку цветов, чтобы рассыпать на могиле.

Огромные прозрачные листья кленов растопырили лягушачьи лапы; сквозь крону акаций проникали солнечные нити, играли на летучих паутинках. Здесь было безлюдно, как в те далекие годы, когда мы с Микой спасались от грозы где-то неподалеку. Щебетали птицы. Одна, певунья, беззаботно разливалась трелью, другая скромно посвистывала, наверное, трудилась, добывая себе корм.

Где теперь ты, Мика? У бессмертных ли во дворцах Олимпа, или в Аиде блуждаешь скорбной тенью, как повествует Гомер? Или ты в этой траве, в этих солнечных зайчиках, в пенье птиц?

Что такое? Там, в ограде могилы, голоса. Ага, там Эльпиника, невеста Полигнота, вот кто! Она принесла с собой левкои и гиацинты. С ней какой-то мужчина. Они возжигают огонь. Вьется голубой дымок — готовятся к жертвоприношению. Кто же этот мужчина?

Да ведь это брат Эльпиники, Кимон! Как всегда, статный, важный не по возрасту, с неподвижным взглядом суровых глаз — настоящий потомок богов, эвпатрид.

Стойте, ноги! Что мне идти туда? Живая Мика была только со

мной, мертвую у меня отняли. Остался мне колченогий старик Мнесилох, беспомощный, беззубый, и с ним маленькая сиротка.

— Ты куда, Алкамен? — шамкает старик. — Пойдем с нами, проведем вместе сегодняшний вечер.

— Нет, я приглашен сегодня в дом Эсхила. Поэт будет читать нам новую трагедию.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Театр Диониса перестраивался: вместо сгоревшего деревянного вырастал каменный. Поэтому трагедию Эсхила «Персы» мы разучивали на зеленых лужайках нового парка Академии, где возвышаются памятники героям, где юноши-эфебы упражняются на палестрах, где блуждают философы с толпами восторженных учеников.

В новой трагедии персидская царица Атосса ждет вестей от Ксеркса. Прибывает вестник и рассказывает о трагической гибели флота при Саламине и позорном бегстве царя царей. Я играю царицу. На этот раз играю уже не так вдохновенно, как раньше.

Теперь под руководством Эсхила и старого актера Полидора я рассчитываю каждый шаг, десятикратно повторяю каждое движение. Царица должна быть красива? Я вспоминаю Мику и стараюсь подражать ее гордой походке. Царица страдает? Я стараюсь вспомнить, что пережил я, когда увидел, как из-под повязки на спине Мики сочится кровь.

Вот и день Великих Панафиней. Толпы праздничных граждан и гостей идут по улицам, несут пальмовые и миртовые ветви.

Я готовлюсь: надеваю парчовое платье, обуваю котурны на острых каблуках. С улыбкой вспоминаю нашу старую тесную каморку в сгоревшем театре.

— Алкамен, как — это ты?

Чей же это такой мучительно знакомый, скрипучий голос? Это старый жрец Килик, еще более косопузый и еще более оплывший, смотрит на меня глазами зачарованной жабы.

— Да, это я! — отвечаю я дерзко. Килик кашлянул и удалился, потому что в театре теперь распоряжаются другие, и хореги уже кличут актеров на сцену.

Представление началось. Хор, одетый в пеструю, раззолоченную и расшитую одежду персидских вельмож, возбуждает целый шквал свиста, крика, яблочных огрызков. Так зрители — виноградари, корабельщики, торговцы выказывают свою ненависть к захватчикам. Зато, когда вестник рассказывает о гибели царского флота, в театре бушует восторг.

Царица плачет; рыдают, заламывают руки и все персиянки.

Я пою в полную силу, чувствую, что мой голос заставляет театр сидеть не шелохнувшись, а сам трепещу от безысходного горя.

Мы живы, мы дышим, над нами горячее солнце, а сколько убито, сколько утонуло, сколько погибло! Мика, которой хотелось заснуть навек, чтобы не мучиться; перс, который перед казнью

целовал погремушку; даже тот неразумный варвар, которого я убил кинжалом Фемистокла, — были бы они живы, смеялись бы и пели, как мы!

Трагедия окончена. Я удаляюсь под оглушительный вопль толпы. Срываю маску, стягиваю громоздкие одежды — сегодня мне больше не играть. Теперь в театре много актеров. Они поочередно сменяют друг друга, и труд их стал менее изнурителен.

Ксантипп кидается ко мне, виски его белее серебра, но он по-прежнему пылок, и все его бородавки алеют от восторга.

— Отправил я шерсть на рынок в Сикионе. — Это Эсхил говорит бледному Аристиду. — Оттуда моих приказчиков спартанцы прогнали. Не ходите, говорят, со своими товарами в Пелопоннес: здесь, мол, мы сами хозяева.

Аристид сочувственно кивает головой, а окружающие разражаются негодованием по поводу вероломных спартанцев.

— Эсхил! — зовет его Ксантипп. — Хватит тебе о шерсти и процентах. Иди сюда, скажи Алкамену хоть слово. Он у нас сегодня именинник!

Эсхил улыбается, глаза его на мгновение застывают, и вот он уже декламирует стихи:

Будь лучшим и не будь доволен тем,
Что все, как наилучшего, чтут тебя вокруг.
Снимай плоды с глубокой борозды в душе,
В которой мысли благородные растут...

Из душного помещения мы вышли под портик храма Диониса в сень деревьев; беседовали, держа в руках кубки с прохладным напитком.

— Что это я вижу? — вновь послышался голос, похожий на скрип телеги. Старый Килик приближался, опираясь на грозный костыль, а за ним следовала дюжина храмовых рабов. — Граждане афинские, родные вы мои! Да ведь это беглый раб Алкамен! Дозвольте мне его схватить, как это полагается по закону!

Сердце мое заледенело.

— Постой! — преградил ему путь Ксантипп. — Что ты мелешь, старик? Он храбро сражался и заслужил свободу.

— Ничего не знаю, — ответил Килик. — Алкамен принадлежит храму, богу принадлежит. Он перерезал ремень и убежал. У меня имеются свидетели. Подвинься-ка, гражданин

Ксантипп, не мешай исполнить законное право.

— Ух, ты! — замахнулся неистовый Ксантипп. — Да я тебя!..

Килик даже не изменился в лице, только слегка пригнулся и безжалостным пальцем указал своим рабам на меня.

— Постойте! — сказал Фемистокл, выдвигаясь. — Постойте, ты, Ксантипп, и ты, жрец. Давайте разберем все по закону. А закон гласит, что Алкамен, несмотря ни на что, остался рабом.

— Вот именно! — обрадовался Килик. — Вот я слышу слова мудреца. О Фемистокл! Ай да Фемистокл! Если мы будем нарушать законы, которые мы устанавливаем в назидание черни и рабам, кто же станет их соблюдать?

— Но вот тебе выкуп, — продолжал Фемистокл. — Я дам расписку, что к утру стоимость Алкамена будет тебе внесена сполна. Часть заплатит казна, часть Ксантипп, часть, может быть, захотят внести другие...

— И я, и я! — закричали мои друзья и поклонники. А Эсхил, расчетливый Эсхил, предложил:

— Я дам в обмен здорового раба.

— А я в придачу рабыню! — вскричал Ксантипп.

Килик помахал ладонью:

— О нет, закон и обычай воспрещают продавать, дарить или обменивать рабов, принадлежащих богам.

Я хотел крикнуть ему: лжец! Ты забыл, как ты продавал детей храмовых рабов? Хотел подбежать к нему и оскорбить, ударить, но ужас сковал мой язык и мои ноги.

— Храм достаточно богат, — посмеивался Килик, — и не нуждается в вашем серебре. Этот раб бежал и, следовательно, подлежит возвращению и наказанию.

— Ненасытная утроба! — вновь вскипел Ксантипп. — Мы обратимся к народному собранию. Оно его освободит.

— А вот и не освободит! — ответил Килик. — У каждого теперь есть рабы, много рабов. А что, если народное собрание захочет освободить и ваших рабов?

У Килика торжествующие глаза торчали вперед, как у рака. Фемистокл сказал: «М-да!» — запустил пальцы в бороду и ушел задумчивый. Вслед за ним растаяла и толпа.

Новые храмовые рабы (ни одного знакомого лица!), гогоча, переговариваясь по-персидски, срывали с меня мои модные одежды. Я не сопротивлялся. Я с ужасом видел, как пробирается вдоль ограды слепой Мнесилох, девочка Мика горько плачет от сострадания, а Мнесилох что-то лепечет о милосердии, о сокровищах, похищенных при Марафоне, но никто не хочет слушать его слабый голос.

Рабы отвели меня на священную землю храма Диониса. Там, перед свежеоструганной дверью кладовой, было приготовлено позорное ложе, и здоровенный мидянин на локте пробовал крепость розги.

Новая дверь, по белизне которой катятся слезки смолы! Постой, постой, это ведь когда-то уже было!

В памяти отчетливо возник дымный свет факелов, дом Килика, пельтасты и длинноногий перекупщик зерна, спасающийся в храме...

Вот он, вот он где мой выход! Сердце, замри на минутку! Я растолкал рабов и, прежде чем они успели сообразить, в чем дело, вбежал в храм и упал к подножию статуи Диониса, обняв ноги бога, как молящий о защите.

Жрецы собрались вокруг и остановились, беспомощно опустив руки. Я в душе ликовал — все будет хорошо, только бы демократы от меня не отступились!

Храм опустел. Богомольцы поспешно разошлись, увидев, что у алтаря разыгрывается драма. Жрецы бесшумно вынесли блюда с жертвенным мясом, убрали покрывала, сосуды с питьем...

Настала тишина. Время по капле утекало из водяных часов. Подкралась ночь, в решетчатые двери вошла без шороха луна; темные углы отодвинулись в бесконечность. Дионис, как глухонемой, улыбался лунным лучам, а мне на холодном мраморе было неуютно и жутко.

В храме теперь все переменилось. Здесь раньше, кажется, был бассейн, где Килик утопил котят и хотел утопить меня. Теперь я остался один, совсем один. Гермы за храмом разрушены персами, исчез и Солон. Белые руки матери редко являются в моей памяти, а кружочек с буквой «Е», что значит «свобода», я сам отдал в жертву за Мику...

Ничего не осталось.

Почему же в ушах гремит зеленое море, а из глаз не хочет уходить яркая картина: галера, которая уносится сквозь горы воды, улыбающиеся лица Медведя, Псоя-садовника. Зубила, других? Путь к далекому Криту, который, говорят, не выдает беглых рабов...

Я, кажется, засыпаю, — это плохо. Из хитона я выдернул суровую нитку, которую полагается иметь с иглой каждому воину. Ниткой я привязал себя к алтарю: если я засну и руки опустятся, перестанут обнимать алтарь, эта нитка будет соединять меня со священным убежищем.

И в памяти перемежаются расплывчатые картины прошлого: орущие рты сражающихся, купец из освобожденного нами города, который хотел женить меня на дочери, зеленоглазой, как

змейка... И совсем далекое: призрачные кентавры, скачущие через марево дождя.

Я очнулся от грубого прикосновения. Сразу много рук вцепилось в меня; колючая веревка туго обматывалась вокруг моих рук. Луна скрылась, была полная тьма...

Негодяи, ругаясь шепотом, спешили меня выволочь из храма; в зубы забили вонючую овчину, как это сделали некогда варвары.

На улице слабый свет лампы осветил склонившиеся лица, глаза которых блеснули от любопытства и алчности.

Боги! Это были все те же лидиец и египтянин!

— Не беспокойся, благочестивейший Килик, — шептал вкрадчивый голос, мы его вывезем так, что и муха об этом не прожужжит. И продадим его на край света, в Тавриду или в Элам, откуда ему уже возврата не будет.